

18+

Ирина Васюченко

Отсутственное место

Ирина Васюченко
Отсутственное место

«Издательские решения»

Васюченко И.

Отсутственное место / И. Васюченко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-983065-4

Талантливая, честная, весёлая и увлекательная книга Ирины Васюченко не оставит равнодушными тех, кто ещё помнит доперестроечные времена. Времена меняются, начальники и коллеги приходят и уходят — и это всё легко пережить и приятно описывать. Но автор смело углубляется в пучины человеческих характеров, в хитросплетения интересов и перипетии судеб — и там находит важнейшие ответы на основные вопросы современного бытия. И щедро приглашает нас разделить эти открытия. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-983065-4

© Васюченко И.
© Издательские решения

Содержание

Предостережение	6
Глава I. Сто рублей, или Тринадцать скелетов	7
Глава II. Жизнь и мнения молодого специалиста	12
Глава III. Вдохновенный Дантес	16
Глава IV. Шторм в ушате помоев	19
Глава V. Монологи под сенью монстры	24
Глава VI. Дезертирство	27
Глава VII. Белые Столбы	31
Глава VIII. Кто громче крикнет «Жопа!»?	36
Глава IX. Послание об исчезнувшем времени	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Отсутственное место

Ирина Васюченко

© Ирина Васюченко, 2020

ISBN 978-5-4498-3065-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предостережение

Время действия здесь – семидесятые годы минувшего столетия, десять лет из жизни некой молодой особы, не шибко ладившей с социумом. Место – Москва. А это предисловие я сочиняю, сидя у открытого окна, полного солнца, октябрьского зноя и верещанья длинных зеленых попугаев среди длинных зеленых листьев на ветвях фикуса-гиганта. Потому что там, за окном, не Москва уже – Хайфа.

Так зачем об этом сейчас?

«Незачем!» – сообщили мне недавно. Но таким манером сообщили, что тут-то и захотелось перевыпустить книжкой роман, напечатанный давным-давно в ростовском альманахе «Ковчег». Его нет больше, нашего славного «Ковчеха». Утонул.

А вышло так, что один юный и, говорят, без пяти минут гениальный программист пришел к пожилой уважаемой филологине и попросил:

– Расскажите, что это было такое, жизнь в Советском Союзе? Нет, про ГУЛАГ, про ужасы не надо, это и так все знают. А просто жизнь, какая она была?

– Просто? Легко сказать! Так не объяснишь. У меня тут один альманах завалился, почитайте. Автор – моя университетская однокашница. У этой дамы хороший глаз, она много чего заметила.

Возвращая «Ковчег» владелице, парень угрюмо процедил:

– Не дочитал. Написано нормально, но.., – плечом дернул, не сдержал раздражения. – Зачем мне это знать?!

– Вы сами спросили.

– Спросил. А теперь не хочу!

Вот, стало быть, как. Собрался человек погрузиться о простой доброй жизни, которой он не застал. Не повезло, опоздал родиться! Так иные встарь, пресытившись просвещением, грезили о невинном счастье дикарей, не испорченных цивилизацией. Они понимали, не послед-ного же ума господя, что и у дикаря свои проблемы. Того гляди какая-нибудь саблезубая тварь выскочит из-под мирной сени дубрав да глотку и перекусит. Ну и что? Все мы смертны. Зато сколь прелестно коротать свой век на лоне природы, обходясь без докучного и фальшивого этикета, без вздорных недалеких королей, без пудренных париков, под которыми ужасно потеет лысина!

Доброхот, который вздумал бы приставать к такому мечтателю с рассказом о доподлин-ных трудах и днях детей природы, об их неаппетитном быте и удручающих нравах, тоже вряд ли встретил бы радушный прием.

Юноша искал чего-то, за что утраченному режиму стоит даже ГУЛАГ простить. А я ему, как ныне принято выражаться, кайф обломала. Мне все равно не понять, как это – простить ГУЛАГ? Что дает чей бы то ни было хороший глаз (за комплимент спасибо), что могут доба-вить какие угодно картинки из области повседневного обихода к ужасу, о котором «и так все знают»?

Не понимаю, а рада. Даже польщена. Хотя, когда писала, обличение советской власти не было моей задачей. Дохлое дело – ради одной ненависти роман сочинять. Он, собственно, о другом, это уж так, побочный эффект. Но если вам, читатель, как тому младому недогению, рассудку вопреки дороги кисло-сладкие постсоветские иллюзии, может, лучше сразу закрыть эту книгу?

Короче, я предупредила.

Глава I. Сто рублей, или Тринадцать скелетов

Из трех гигантских грязно-коричневых труб равномерно валит черный дым. Некое предприятие – этого ведомства? или сопредельного? – функционирует там, перечеркнутое переплетом окна. Опершись о подоконник локтевым суставом, отключив таз, на фоне пейзажа застыл скелет. Сквозь ребра ясно видны клубящееся облако цвета сажи, чахлая герань на подоконнике и бордовая штора, подхваченная посередине шнуром.

Вот, вяло болтаясь на ходу, приблизился второй. Остовы повернули друг к другу черепа, задвигали челюстями:

– Там правда сосиски есть, на углу?

– Они уже тогда кончались, в перерыв. Так хватали! Надо тебе было пойти.

– Ты ж не подождала. А ведь знаешь, я одна не люблю... Ничего, может, в гастрономе достану.

– Ну да, как же, в гастрономе! Там уже вторую неделю шаром покати.

– А Тяга говорит, что...

– Тяга тебе наговорит! Зато Люська Шахова вчера у Краснопресненской знаешь, чего купила?

Эх, звук бы им отключить!

Она напряглась, стиснула зубы и кулаки, даже зажмурилась на секунду, но полностью обеззвучить сценку не получалось. Нескончаемый диалог только замутился, теперь он проник в сознание ошметками: «а я с майонезом смешиваю..., если горчички тоже..., помидоров не кладу из принципа!»

Что за бред? Из какого принципа?

– Нет, синенькие я не так делаю. А чеснока вообще терпеть не могу!

– Да кто его может любить, чеснок этот?

– Ну, не говори! Зита, например, даже не скрывает...

– Твоя Зита много чего не скрывает!

– Какая она тебе моя? Я, если хочешь знать, после ее поведения с овощебазой вообще...

– Давно собираюсь у вас спросить...

Мужской голос прозвучал сзади, над самым ухом. Нервно дернувшись, она обернулась. Огромная комната за ее спиной была тесно загромождена столами. Там ходили, сидели, шуршали бумагой, бубнили скелеты. Она в первый же день успела их пересчитать – тринадцать. В конторе, именуемой – что за бяка эти их таинственные письма! – ЦНИИТЭИ монтажа каких-то конструкций, где нашей героине, сбежавшей от распределения выпускнице филфака, отныне предстоит служить, это самая большая комната. Нескольких дней, здесь проведенных, хватило, чтобы проникнуться и к самим стенам, и ко всему их живому и мертвому содержанию глухим омерзением обреченного. Шильонский узник кончил тем, что привязался к своей тюрьме. Ну да, ему хорошо, у него там хоть тихо было.

И все дело в ста рублях! Не нужно решеток, замков, стражи – довольно с тебя сотни, поделенной пополам и дважды в месяц выдаваемой в окошечке кассы! Никуда ты не денешься. Это на всю жизнь. Со временем тебе прибавят 20, 30, 40 рублей. Господи, как выдержать?..

Один из скелетов незаметно подкрался вплотную, чего-то ему надо. Теперь он стоял перед ней, уставившись пустыми провалами глазниц.

Нет, так все же неудобно. Когда разговариваешь, лучше воспринимать собеседника в комплекте.

Вернув ему причитающуюся плоть вкупе с бородавкой на вздернутом сизоватом носу и коричневый костюм, туго облегающий плотненькое пузцо, она уставилась на результат этой метаморфозы в легкой растерянности. Пожилой плешивый тип в свою очередь разглядывал ее

не то нагло, не то одобрительно, однако в любом случае излишне откровенно. Как его? Федор Семеныч? Семен Федорович? Что-то же Аня про него говорила... Полковник в отставке, а здесь занимается... э, да какая разница? Ведь даже само назначение ЦНИИТЭИ для нее более чем туманно, так не все ли равно, для чего здесь этот... ага, вспомнила:

– Да, Федор Степанович?

– Вас Шурочкой зовут, я не ошибаюсь?

– Александрой Николаевной.

– Бросьте, какая вы Николаевна? Женщина не должна себя старить, для нее ничего нет важнее молодости. Вы молоденькая девочка, юное, как говорится, создание, прямо со школьной скамьи!

– Университетской.

– Так вы в самом деле закончили университет? – тут он, внезапно возвысив голос, принялся гулко провозглашать. – Романтично! Через тернии к знаниям! Помните, как сказал поэт? «Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь», – на последнем слове он хрюкнул, и взгляд его тускловатых, но бойких гляделок переместился с ее лица малость пониже, благо там было-таки на что посмотреть... ей-то всегда хотелось быть плоской, как доска, оно и красивее, и... – «Не стыдися, что за дело? Это многих славный путь!» Да-а... Одно слово – университет!

Топая обратно к своему столу, он еще доборматывал с игривым самодовольством что-то поучительное, какие-то сентенции о пользе просвещения. А за соседними столами хихикало – там полковничью цитату и услышали, и оценили.

Нарочито медленно повернув голову, она окинула повеселевшее сборище скелетов взглядом, долженствующим выражать холодное недоумение. Только не кипятиться. Они всего лишь кости. А эту сценку надо изобразить дома. Все будут смеяться – Скачков, мама, сестра. Даже отец, пожалуй, снизойдет до желчной усмешки, хоть и прибавит непременно, что надо было не валять дурака, идти по распределению в Ленинскую библиотеку, уж там-то не пришлось бы сталкиваться со всякой шушерой неотесанной.

А ведь она ему уже раз пять объясняла. В Ленинке у нее знакомая, так что разведданные удалось собрать заблаговременно. Есть там обычай, установленный не вчера и ревностно поддерживаемый: разбирать на профсоюзных собраниях поведение каждого, кто хоть на волос не пострадает администрации. Это настоящие кровавые расправы, человека топчут всем стадом, и не то что защитить – нельзя даже отмолчаться. За молчунами слеживают: «А вы почему своего мнения не высказываете?» Только попробуй высказать не то, чего ждут, – сама будешь следующей жертвой.

Главное, даже хлопнуть дверью нельзя. На осторожный вопрос, можно ли будет уволиться, если потребуется, раньше, чем через три года, представительница библиотеки с плотоядным злорадством отчеканила: «Уж извольте отбыть, сколько положено! Вас не просто, вас по распределению зачисляют! Ну, работы по специальности мы вам предоставить не обещаем, будете на выдаче. Жалованье – девяносто»... Нет, папаше хоть кол на голове теши: «такая культурная фирма», «мировой масштаб», «в Ленинке ты имела бы шанс выдвинуться, проявить себя», «все эти рассказы наверняка преувеличены»...

На самом-то деле он напуган. Бойтся, что это ее самовольное уклонение где-то «зафиксировано», «рано или поздно такие вещи всплывают», «тебе припомнят»... Подобного поворота по нынешним временам можно бы не страшиться, но уже ясно, что по крайности одна инстанция и впрямь припомнит ей, да не раз, эту пресловутую Ленинку. Он сам. Пока будет жив, не устанет пилить. Страх обернется упрямой иррациональной верой: не сглупила бы тогда, послушалась, и вся биография покатила бы по иной, более успешной колее.

А все равно – дома, со своими, она и сама посмеется, еще бы! Но здешняя атмосфера имеет особые свойства: чувство юмора глохнет в ней так же, как все порядочные чувства. Лако-

мый пассаж с грудью как сугубо примечательным атрибутом учености придется законсервировать для домашнего употребления.

– Гирник, где это вы витаете? Проснитесь! Вам материал на редактуру.

Тамара Ивановна. Зав группы. Ее группы. Иметь начальство – к этому тоже придется привыкнуть. О, боги...

– Да, пожалуйста.

Одев, пёс с ней, и Тамару Ивановну плотью, она с тоской смотрит в скуластое напудренное лицо, изображающее умеренную строгость к молодой неопытной подчиненной.

– За неделю справитесь?

– Да.

Справится она за полчаса. Четыре машинописные страницы – нечего делать. Но и прочим тоже ведь делать нечего. Они тут день-деньской сплетничают, собачатся, зевают, повествуют о своих чадах, болезнях и гастрономических пристрастиях. В особенности их почему-то тянет распространяться о жратве. Если закрыть глаза, не видеть упитанных рож и массивных задниц, легко вообразить себя в обществе голодающих. «А картошечку когда в масле пожаришь, да с лучком...», «А мяско, телятинку особенно, если хорошенько отбить, в сухариках обвалить...»

Так. Теперь самой есть захотелось. Приехали.

Зачем же,

Чем же

Ем?

Зачем

Не ем

Совсем?

Зачем

Я ем?

Зачем?!

Стишок Беренберг. Они все трое баловались стишатами, но у Женьки выходило и грустнее, и смешнее, чем у Гирник или даже у Молодцовой. Это было на лекции, да, точно. Преподаватель вещал о преимуществах плановой экономики, а они затеяли поэтический турнир на тему «Зачем?» О поэзия, в тебе одной спасение! Она вырывает лист из новенького, но по причине ее неизбывной неряшливости уже мятого блокнотика и, тщательно, округло – помедленней! – вырисовывая каждую букву, принимается записывать беренберговское творение латинской транскрипцией:

Zatchem je,

Tchem je...

– Нет, даже не говорите, рыбку тоже с майонезом отлично!

Мне некуда бежать. Но вы-то все почему не идете в поварахи? Что вы здесь забыли с таким ярко выраженным призыванием к приготовлению пищи?

Глядя, как расплываются, клубясь за окном, дымные выбросы, она в который раз напоминает себе: ее задача – уберечь свою душу. Не кипеть бессильно, не роптать, а отстраниться. Если тело осуждено высидеть на конторском стуле свой кусок хлеба, ничего не поделаешь, но душе здесь не место. Ей надлежит пребывать вне этих стен. Ведь ни одно занятие из тех, что не в книжках, а в окружающей реальности, ее не привлекает. Какая ей разница, монтаж металлоконструкций, мыловарение, страхование имущества?

Да, есть еще преподавание русского языка и литературы – специальность, означенная в дипломе. Это тоже не годится. Ей ли топтаться с важным видом у доски, кромсая творения классиков по линиям, прочерченным школьной программой, как мясники расчленяют мертвую корову? Литература прибежище души, она не станет так издеваться над ней. И перед детьми стыдно. Положим, большинству наплевать, оно себе фыркает да ерзает, но кому-то там, в их толпе, будет от этой лицемерной жевни так же тошно, как ей когда-то.

Нет уж, ее настоящая жизнь пройдет стороной мимо любых видов этой вашей общественно полезной деятельности. Однако досадно, что и ее как таковой нет. Было бы легче хоть что-нибудь делать. Время проходило бы быстрее. Но это здесь не принято. Для виду надо легонько шуршать бумажками, и все.

Ну, может, в не ведомых ей недрах здания, на каком-то из этажей и засело два-три, а то и, как в сказке, аж семеро лихих умов, вправду смыслящих что-то в этих самых конструкциях и монтаже оных. Их шуршание не бесплодно, кто-нибудь из них затесался, чего доброго, даже среди присутствующих. И когда институту приходит пора где-то там предъявить кому положено плоды своей деятельности, они оправдывают существование всей громоздкой аббревиатуры?

Ладно. Как бы то ни было, не ей, которой от всего курса точных наук остались лишь выбранные места из таблицы умножения, войти в число этих таинственных столпов ЦНИИТЭИ. Ее уже предупредили: главное не высовываться. Скажешь, что у тебя нет работы, значит, начальству придется голову ломать, выдумывать, чем бы ее занять, дуру недогадливую. И коллеги насторожатся, решат, что выслуживаешься. Всем досадишь. Пока просто не воспринимают, а то возненавидят.

Ох, только не это! Начнутся каверзы, мелочные подковырки, а она, грешным делом, еще и не умеет их парировать. Ответный выпад рождается в не тренированном на эти дела мозгу с оскорбительным запозданием. Только и радости, что, как полоумная кобра, зря травмишься своим же ядом. Косые взгляды, перешептыванья за спиной, надобность выработать на все это мало-мальски достойную реакцию... нет уж. Какой смысл усугублять здешнюю тощицу еще и нервотрепкой? Все делают вид, будто работают. Таковы правила игры. Она примет их. Выбора все равно нет.

– Труд, конечно, далеко не лучшее, что есть в жизни. Господь только в наказание за первородный грех мог велеть человеку в поте лица своего добывать хлеб свой, – басила вчера мама, усмехаясь и дымя «Беломором». Они сидели на кухне за вечерним чаем, к которому Шура только что откупорила ей на потеху очередную порцию рассказов о нравах ЦНИИТЭИ. – Но целыми днями гнить в конторе, болтая невесть с кем невесть о чем и притворяясь, будто дело делаешь, – уж слишком зверский приговор. Бог такой гадости не измыслил бы, тут явно штучки сатаны. Шурка, ты очень смешно рассказываешь, но я даже выразить не могу, как тебе сочувствую. В сущности, это кошмар. На что я старая стяжательница, но не знаю, за какую сумму могла бы такое выдержать!

Ей перевалило на седьмой десяток, но мама еще работает, хотя никому не позволит выдавать ее за вдохновенную труженицу. «Видите ли, в борьбе между ленью и жадностью у меня пока побеждает жадность». Но она-то именно работает, в своем проектно институте она – как раз из тех редких, все умеющих, которым цены нет... даром что ей с ее отменным профессионализмом и непостижимой продуктивностью платят только в полтора раза больше, чем дочке, пригодной лишь для расставления никому не нужных запятых в никем не читаемых бумагах: всего-то сто шестьдесят. Ей твердят, вздыхая: «Таков установленный потолок, Марина Михайловна, все знают, что вы – ас в своем деле, но вы ж понимаете, если бы от нас зависело»... Милая мама, как титанически она ненавидит социализм, на веки вечные уравнивший ее с любой безмозглой старой квашней, столько же десятилетий просиживающей стул!

А с игрой в превращения пора кончать. Толку от нее чуть, да сверх того курс анатомии и физиологии человека тоже процентов на семьдесят изгладился из памяти. Софья Матвеевна ей бы за такие скелеты и тройки с минусом пожалела. Выходит, в монтаже этих конструкций ты тоже профан...

– Шура Гирник! Где Гирник? К телефону!

Глава II. Жизнь и мнения молодого специалиста

Она срывается с места, мчится через комнату, задевая углы столов и спинки стульев. – «А потише нельзя?» «Ну, понеслась!» «На пожар, что ли?» – И опять слишком поздно вспоминает, что давала себе слово держаться степенно. Ведь надо лопнуть, но «поставить себя», стать для них Александрой Николаевной, иначе существование будет вконец нестерпимым. Но звонок – это из живой жизни, той, от которой здесь так отрываешься, будто ее и нет вовсе. Нет ни Скачкова, ни Евгении, ни Таты...

Ах, Татка Молодцова, вечная бунтовщица! Уж не она ли сейчас завопит в трубку: «Гирник! Чудовище! И ты можешь там сидеть?! Не говори мне, не смей говорить, что можешь! Потому что я сбежала! Слышишь?! Я смылась из своего поганого офиса! Я наплевала на все, и мы сейчас же идем в парк! Шататься по аллеям! Пить пиво! Кататься на лодке! Да посмотри в окно, ты же не ослепла, чтобы не видеть, какое там солнышко, какие розовые клены? Бог запретил в такие дни заниматься паскудством, это смертный грех! А позволять себе слишком долго преть в офисе – паскудство! И ты это знаешь! Соври им что хочешь, но учти: я через сорок минут буду у Телеграфа и с места не сдвинусь, пока ты не придешь!» Таткина манера – говорить без остановки до тех пор, пока не отнимет у тебя все мыслимые возможности ответить ей «нет».

Или, может, это Женя Беренберг. Длинные фразы, протяжный, иронически утомленный голос: «Александра, мы с Молодцовой приняли единственно возможное в нашем случае решение с самого утра ускользнуть из Белых Столбов, дабы обрести свободу и укорить тебя за постыдную трусость, если ты все еще не поступила так же. Сейчас я передаю трубку Татьяне, ей не терпится поделиться с тобой своими выстраданными мыслями на этот счет». И далее все то же: Таткина кавалерийская атака, сдержанно скорбное сообщение Тамаре Ивановне про приступ мигрени, аллеи сентябрьского парка – только не вдвоем, а втроем. Тут уж обойдемся без пива: изысканная Евгения его не признает.

Если Женя, пусть бы лучше без Татки. Нет, не то чтобы лучше... Ну, просто, как говорит Скачков, «Гирник одновалентна». Даже самых близких людей предпочитает видеть по одному: в трио она куда слабее, чем в дуэте.

Почему это ее раздражает? «Если вы счастливы вдвоем с любимой или другом, но когда окажетесь на людях, между вами пробегает тень, знайте – все не так безоблачно: трещина в вашей гармонии уже наметилась». Чего ради ей втемяшилась, из ума не идет эта мимоходом брошенная фраза? Типун вам на язык, безумный преподаватель Федоров, под видом лекций о зарубежной литературе с ледяным жаром внушавший аудитории свои излюбленные мысли о «феноменальной структуре бытия!» Ей все это нравилось: и ледяной жар, феномен столь же необъяснимый, сколь живо ощущаемый, и эта малость сомнительная, пожалуй, простоватая, но привлекательная структура. А все же типун вам, Федоров, типун!

Или, чем черт не шутит, Аська объявилась?.. Хотя нет, вряд ли. Ей неоткуда узнать номер здешнего телефона, он ведь у Шуры недавно. С Асей худо. Она должна была остаться при кафедре, дело казалось верным, и тут ей вдруг вlepили тройку по научному коммунизму. С такими показателями по общественным наукам уж какая аспирантура? Завалили нагло, целенаправленно. Так вот взяли да и спросили, сколько стали было выплавлено в СССР в тысяча девятьсот тридцать пятом... или что-то в этом роде. Все знали, что у преподавателя на нее зуб, но такого никто не ожидал. Чтобы Анастасию Арамову, лучшую из лучших... Теперь ей одна дорога – домой, в Йошкар-Олу, в какое-нибудь заведение вроде здешнего. А она не едет. Понимает, не может не понимать, что надо, а вот – заклинило. Плохо верится, но говорят, рассудительная, гордая Аська скитается, как бродяжка, по университетскому общежитию, правдами и неправдами пробираясь мимо местных церберов в здание, за последние годы став-

шее для нее родным домом, но отныне запретное, ночует то здесь, то там на птичьих правах, у мало знакомых лиц обоего пола, пустилась будто бы в безрадостный разгул... И не приходит. Исчезла. Даже не пишет: со дня провала ни открытки, ни строчки. А теперь еще эти слухи.

– Мне всегда была неприятна твоя Арамова, – с аффектированной брезгливостью прошла по ее адресу Тата, – но сейчас даже мне жалко. Хочется вытащить ее из этой жижи, обмыть и поставить на сухое место.

(Ну, Татка, это слишком! Никуда не годится, даже будь ты весталкой из весталок, чего, между прочим, не скажешь. Как тебя послушать, твои шалости легки, порхающе-эфемерны, тебе и самой в точности никогда не известно, что было, чего не было, что ты выдумала шуточки ради, о чем сочла за благо позабыть. Ставить эти прихоти пылкого сердца и вольной фантазии на одну доску с тяжеловесными, утробными вожделениями других – верх глупости, не так ли?)

– Насколько я поняла, сама Арамова тебе про жижу ничего не сообщала. Мне тоже. Она, видимо, полагает, что ее нынешняя ситуация не нашего ума дело. Я бы не взялась это оспаривать.

Какую мину умеет скроить Молодцова, когда ей что-нибудь скажешь поперек! Этакая бедненькая, доверчивая, тонкошеяя сиротиночка, принцесса, потерянная во младенчестве и возвращенная свинопасами. С ней целый свет обходится низко и грубо, в одной тебе она еще искала понимания, бесхитростно открывала трепетную, полную сокровищ душу, и вот твоя предательская рука запускает в это святилище булыжником! Она сейчас угаснет прямо здесь, у тебя на глазах, убийца!

Сто раз подумаешь, прежде чем навлечь на себя это душеспипательное впечатление. Но что-то часто она стала злобствовать... и с каким-то самовлюбленным пафосом... Нет, нельзя о ней так. Наша троица, мы же спина к спине у мачты, нам надо беречь друг друга, иначе чем можно кончить? Татка не виновата, в универе она не срывалась так, а если и случилось изредка, умела сразу опомниться... Мы, неблагодарные, были от своей альма матер далеко не в восторге, надменно обзывали ликбезом, язвительная Беренберг говаривала, что заниматься здесь с увлечением – все равно что отдаваться со страстью в публичном доме, Молодцова утверждала, что образование идет само, как служба во время солдатского сна...

Но там можно было жить. Те годы – потерянный рай, даром что тогда раем не казались. А Госфильмофонд, где Тата и Женя теперь синхронно переводят англо- и испаноязычные фильмы, – та же контора со всем набором прелестей: тут тебе и начальство, и коллектив, с бесцеремонностью болота норвящий всосать тебя в свое лоно, и профсоюзные собрания, не говоря уж о вечных призывах крепить дисциплину и угрозах в самом скором времени укрепить ее окончательно. Пусть режим и род занятий там куда приятнее здешних, это все равно на грани человеческих возможностей. Беренберг, та все выдержит, в ней сил чертова прорва. На что Гирник крепка и азартна, но с Женькой даже ей не тягаться. Она – единственная, кому случалось после многочасовых лесных шатаний вынудить Шуру сдать первую: «Пошли домой!» Да еще в ответ – вздох, тот самый, во всех иных случаях фирменный Шурина: «Как, уже?» Ей тоже всего всегда мало, она доводит до изнеможения, что в споре, что в бадминтоне, неутомимая алчность... Нет, главное, Беренберг выше мира. Закрепилась на такой высоте, где ее не достанешь. А за Татку страшно. Такая порывистая, уязвимая, такая...

На сей раз не они. Муж:

– Скажи что-нибудь, и я тебя опровергну!

Это из очередной научно-фантастической книжки. Шура ее тоже читала: с ним волей-неволей станешь знатоком фантастики.

– Попробуй. Тезис: Скачков, ты очень умный.

– Антитезис: я безумец, неприличный плюгавый субъект, без памяти влюбленный в собственную жену. Я даже не подкаблучник, потому что эта жуткая особа из лени вечно шлепает в каких-то плоских тапочках. Пяткой не шевельнет, чтобы подогреть мою безрассудную

страсть! Даром что от горшка два вершка, ножки тошенькие, а головища, как артельный котел! Но я так радикально одержим бесом, что под ейной стоптанной подошвой чувствую себя блаженным, как властелин мира. Что, съела?

– Сейчас сравняем счет. Ты в комнате один, Зайцев и Владыкин на правах начальства смылись пораньше, отсюда красноречие. Однако в полседьмого мы встречаемся «у чаши», тогда оно появится и у меня. Все это, заметь, неопровержимо.

Она уже не помнит, с чего они прозвали «чашей» толстенную колонну, что, вся топорщась мелкой лепниной, подпирает потолок в вестибюле станции метро Курская. Но то, что их речи зачастую никому, кроме них же самих, не понятны, теперь определенно кстати.

– Мистер Холмс, вы мошенник. Но я действительно один, а потому слушай новость. Я тут завел шашни с неким заведением того же рода. И похоже, меня туда возьмут. От дома будет подальше, на этом мы теряем минут двадцать, зато обещают на столько же рэ больше. Я разбогатею, заведу терем и тебя там запроу! По вечерам буду на свежем воздухе прогуливать, чтобы не умерла. Но без меня уж за ворота ни шагу, котище бродячее! Наконец-то душа будет спокойна.

– Ну, Скачков...

– Ага! В зобу дыханье сперло?

– Берегись! Это я тебя, ужо, опровергну. Скоро. Прямо «у чаши».

Это, конечно, никакое не предложение. Шутка. Но есть в ней что-то от зондирования почвы. Легонько, обиняком – его стиль – он дает ей понять, что она могла бы уйти со службы. От нежности в зобу и вправду спирает. Значит, он готов это для нее сделать. Чувствует, как ей тяжело... Да ну, чепуха! Какое право она имеет воображать, что ей это все дается труднее, чем ему? Взгромоздиться на шею возлюбленного предмета, свесить свои «тошенькие ножки» и воспарять духом, пока он будет переть двойную тяжесть?

Хотя подумать есть о чем. Во-первых, наступит полное безденежье, Скачкову уж не придется так часто спознаваться с Бахусом, а это бы недурно. Да и вообще соблазн велик. Снова зажить вчерашней беспечной жизнью, только еще лучше: без сессий, без лекций и семинаров, без необходимости ни свет ни заря мчаться к первой паре, втискиваясь в переполненные электрички, давясь в метро. Только книги, вольные блуждания там и сям, любованье деревьями и облаками, стилизованные, в стихах и прозе, письма друзьям...

Э, нет. При таком раскладе совесть загрызет. А значит, первейшей из книг для тебя станет поваренная. Начнутся кастрюли, тряпки пыльные и тряпки половые, классическое разделение мужских и женских обязанностей, а там и пеленки. Из здания ЦНИИТЭИ можно выйти, стряхнуть сонный морок и стать снова собой. Стоит только оказаться в своем углу, и все, воскресла – плевать, что под потолком живут пауки, а на обеденном столе что придется, лишь бы без хлопот. А если примешься «вылизывать квартиру»? Как гласит народная мудрость, «домашних дел не переделаешь», скелеты только об этом и долдонят.

И я понемногу превращусь. Невозможно поверить, но и они ведь тоже не такими родились. Ты меня разлюбишь, Скачков. Я сама себя разлюблю. Когда-нибудь вдруг услышу, как со скорбной значительностью говорю соседке: «Ах, Марья Ивановна, у женщины заботы всегда найдутся...» – и пойму, по ком звонит колокол. Соображу, что, клюнув на приманку свободы, тут-то и угодила в древнейшую из ловушек. Но будет поздно. Спасибо, тысячу раз спасибо тебе, Скачков, что ты это сказал. Я никогда не соглашусь.

– Шуренок! Ау, Сашурочка! Ну, так и быть, хе-хе, Александра Николавна! – снова Федор Степанович, будь он неладен.

– Что такое?

– Позвольте полюбопытствовать, это вы с супругом только что беседовали?

– Да.

– Разве у вас не Гирник фамилия? А он почему Скачков?

– Когда мы поженились, никто из нас не стал менять фамилию.

– Ну, голубушка моя, что он не захотел, это понятно. Еще не хватало мужчине менять! А вы, извиняюсь, из каких соображений? Скачкова – добрая русская фамилия, как-нибудь не хуже вашей. Вот я бы уж такую жену не взял, которая мужчиной фамилии не уважает.

– Что вы говорите? Для меня это ужасное разочарование.

– А кстати, почему вы родного мужа не по имени зовете? Образование образованием, но на все свой порядок есть. Если каждый начнет нарушать, это, извиняюсь, глупость получится.

– Федор Степанович, я охотно обещаю до гробовой доски называть вас не иначе как Федором Степановичем. Но о том, как мы говорим с мужем, прошу впредь не беспокоиться.

– Фу-ты, ну-ты, какие важные у нас пошли выпускницы!

Обозлилась-таки. Плохо. Сводить счета с недалеким, скверным стариком? Заводишься с пол-оборота, будто продавщица в конце смены... Надо держать себя в руках... которые, тьфу ты, пропасть, уже трясутся... Хватит! Поглядим, что там у них?

«Согласно с Инструкцией от 27 февраля 1969 года...» «Отчет в выполнении производственного плана за каждый квартал выполнение которого должно быть удостоверенно в надлежащем...»

Ну, положим, «согласно Инструкции». Ну, «отчет о» вместо «в», ну, запятой не хватает, а «н» лишнее... Да кого это волнует? И вообще что за абсурд – редактировать текст, которого не понимаешь!

А торчать здесь – не абсурд? А терпеть эту чертову дюжину зануд, которых бесполезно воображать скелетами, динозаврами, сатирами и нимфами, потому что во всех обличьях они останутся теми же занудами? Да, вот что самое худшее – неизбежность их присутствия.

Присутствие. Так ведь и назывался встарь этот кромешный ужас. Идти в присутствие. Сидеть в присутствии. Присутственное место.

Но там, где они присутствуют, я – отсутствую. Меня нет. Они здесь живут, им не дико, не жутко, что их земной срок так и пройдет. У них от такого времяпрепровождения не затекают мозги и не холодеют конечности, а у меня... Это мое отсутственное место. Оно принадлежит им. И мои предосудительные шалости – приделывать им хоботы, напяливать на них кринолины или обдирать с них все вплоть до мяса – ничего не меняют...

Сколько там осталось до конца? Как, только половина четвертого? Быть не может, это часы стали! Нет, идут... Кажется, после перерыва уже целая вечность протекла. Проползла. Протащилась. А сколько их впереди, этих ползучих вечностей?

Нет, такие мысли ей не пристали. Для этого она слишком сильный человек. И слишком счастливый. Напомнив себе два эти постулата, которые она давно возвела в ранг абсолютных истин, Александра Гирник приосанивается и озирает комнату отважным взором заведомой победительницы. Не преобразенные и потому узнаваемые, коллеги киснут на своих рабочих местах. Аня, будто почувствовав, что на нее смотрят, отрывает глаза от собственных длинных малиновых ногтей, которые созерцала весьма озабоченно – один сломался:

– Пошли курить?

– Я же не курю, – Шура поднимается с места. Все равно сейчас Анька ответит: «Ну, так просто постоим!» И она не откажется – нельзя пренебрегать никаким способом скоротать время.

Глава III. Вдохновенный Дантес

У Ани Кондратьевой стан манекенщицы, губастая грустновато-задорная мордашка и карие простодушные глаза. Превращать такую прелесть в остов на шарнирах – варварство несусветное. И свинство: как-никак приятельница. Причем давняя. Когда-то, после одиннадцатого класса не пройдя на филфак по конкурсу, Гирник проработала с ней вместе почти год. Заведение называлось ВПТБ, то бишь Всесоюзная патентно-техническая библиотека. Тоже неважное место, но в сравнении с ЦНИИТЭИ сносное. Вспомнились громадные окна, утешительно глядящий в них из-за реки Новодевичий монастырь... Один из шуриных тайных бзиков – равнодушие к законному пространству. Но кому признаешься, что тебя не на шутку донимают здешние копченые трубы?

Да и вообще там было веселее. Беготня от стеллажей с патентами к читателям и обратно препятствовала застоynom явлениям в организме, небольшой кружок девиц, читавших хорошие книжки и владевших членораздельной речью, образовался легко и держался стойко, юность бурлила, но главное, там они знали, что это не навсегда. Дотерпеть до будущего лета, уволиться и опять – на штурм вуза. Шура повезло, у Ани не вышло: ей хотелось на биофак. Но знакомство сохранилось, Гирник уже студенткой забредала порой на кондратьевские домашние вечеринки, неловко топталась под музыку в объятьях какого-нибудь подвыпившего юнца, слегка дивясь сама себе, что это может ее забавлять.

А то была работа Провидения, вспоминать о ней теперь весело и страшно, ведь оно могло не довершить начатого! Вот была бы беда... не беда, а погибель... Ибо в один благословенный день именно там, в доме, где Шура появлялась так редко, ей встретился другой несчастный гость, молодой инженер-патентник, о котором в этой компании говорили: «О, Витя Скачков парень тонкий!», а она и ухом не вела, глухая тетеря, не расслышала фанфар судьбы. Набитая до ушей потаенным высокомерием, она сомневалась, что их с Анькой понятия о «тонкости» могут совпасть, а к тому же – извольте, еще один бзик – душа не лежит к некоторым именам, и Виктор как раз из таких. Вот ведь в чем дело, любезнейший Федор Степаныч: язык не поворачивается сказать возлюбленному «Витя». Положим, и «Скачков» – не то. Наверное, у нас в самом деле должны быть какие-то тайные, подлинные имена. А сама ты будто бы так уж веришь, что ты действительно не кто иной как Александра Николаевна Гирник? Зато Аня Кондратьева – сущая, с головы до пят, Аня Кондратьева. Потому что и милая, и славная, а чужая. Если ей причитается тайное имя, не тебе о нем тосковать. Хотя ты ей, ежели подумать, кругом обязана. Без аниной рекомендации бестолковая выпускница Гирник наверняка и поныне болталась бы по отделам кадров в поисках работы.

На лестнице, как здесь принято, курящая молодежь заполняет площадку третьего этажа, а кто постарше скапливается на первом и втором. Там уже мелькают знакомые физиономии, а о незнакомых можно осведомиться у Кондратьевой. Хочешь не хочешь, местную фауну надо изучить. Крупные чины из администрации тоже порой любят мимоходом, на минутку-другую здесь остановиться. Вон тот седой – глаз не отвести, до чего авантажен! – парторг. Злые языки говорят, что болван редкостный. С таким умным, породистым лицом? Может, злые языки – сами болваны? Хотя нет, парторг же... Этим все сказано.

Рядом замдир. Тоже зрелище в своем роде. Двойник Ленина! Иногда его даже на съемки приглашают. Ведь бывает, играть нечего, актера не нужно: по сценарию вождю только и требуется, что мелькнуть в кадре, окруженному бушующим пролетариатом, и скрыться, навеки запечатлевшись в потрясенной его скромным величием душе героя. Тут и приходит черед замдира. Он всегда готов, из образа старается не выходить. Сильно, стало быть, гордится сходством. Когда Шура впервые узрела дорогого Ильича в институтском коридоре, аж холодок по спине прошел. Не вздумалось ли обитателю Мавзолея немного прогуляться? Она шепнула это Аньке,

та от неожиданности прыснула, и вождя передернуло. Ну, его хоть не забудешь даже при большом желании. Вот с завкадрами прямо наказание: это человек без лица. Гирник, хоть убей, никак его не запомнит. «Здороваться надо, девушка! Вы что, уже забыли, кто вас на работу зачислял?» – «Извините, Сергей Анатольевич, я задумалась». – «Задумываться в ваши годы не обязательно. А вот старших уважать надо».

– А что у нас есть!

На «молодежную» площадку, как пара чертиков из табакерки, выскакивают неразлучные машинистки Пушкова и Тяжкина, в просторечии Пуха и Тяга. Трудно найти две более непохожие физиономии. Но выражение на них одинаковое: такое бывает у кошки, когда она видит мышь. Пуха-и-Тяга – двуглавая кошка, и она готовится к прыжку.

Подруги всегда не прочь чем-нибудь потешить публику. С тем же победным кличем Пуха вчера извлекла из кармана колоду порнографических карт, изъятых ее папой-офицером у растяпы-рядового. Бдительный папа часто приносит домой подобные трофеи, а вот наложить на них лапку дочери удается куда реже. Курильщики, похохатывая, тотчас расхватили криминальные картишки. Шура глянула мельком, но увиденное вдруг так ее поразило, что она, не веря глазам, еще минуту-другую всматривалась в переходящие из рук в руки диковинные изображения. Это были фотографии голых женщин, немолодых, невзрачных и бесконечно унылых. Где их снимали? В бане? Да чего доброго, не простой, а тюремной... И зачем? Для нужд мужского монастыря, чтобы отвратить иноков от соблазнов плоти? До сих пор ей казалось, что порнография, пусть на свой низменный манер, призвана завлекать, но добыча Пушкова-отца была отталкивающая в своей мрачной гнусности. И что-то было еще, до странности тягостное, будто этих корявых баб кто-то на твоих глазах унижал и мучил.

Теперь машинистки приволокли распечатку стенограммы выступления парторга на последнем, двухнедельной давности профсоюзном собрании. Шура этого собрания не застала, только краем уха слышала, что там была свара. Из-за чего, она не уловила, но похоже, коллектив ЦНИИТЭИ подвержен сварам, как иной организм – фурункулезу. В воздухе уже явственно зреет новая. Парторг же пытался выступить в роли миротворца. Речь была длинная, две с гаком страницы. С выражением читая ее вслух, записная озорница Тяжкина стреляла во все стороны глазами и давилась от хохота. То был монолог слабоумного. Вязкий, бессмысленный текст с рефреном, повторенным раз пять:

– Работа прежде всего, а все женское надо забыть.

Под «всем женским» добряк-парторгыч, надо полагать, разумел пресловутую свару, но внятно выразить свою мысль так и не сподобился.

К концу хохотали уже все, в том числе Кондратьева и Гирник. Польщенная успехом, Тяга придвинулась к ним, подмигнула:

– Во мудака?!

Громко. И не боится... А что, если они-то с Пухой, две дерзкие, нарочито вульгарные девахи, машинистки-пулеметчицы, и есть истинные столпы ЦНИИТЭИ? Из-под их стальных стремительных пальцев, что ни день, вываливаются груды пустопорожних бумаг, а больше ничего, может быть, и не надо? Нет никакого монтажа конструкций, а есть только глазастая смуглая Тяга, которая была бы красавицей, если бы не этот утиный смешной носик, да бело-брысая копна Пуха, которая была бы уродиной, если бы не густой, даже сестрам по полу шибящий в нос аромат женственности?

– Тяга! Ты чего там застряла?

– Да вот не могу, тянет меня к интеллигенции... как муху на говно!

Только что, всего мгновение назад, в ее ошеломляюще выразительных глазах появилась детская, беспомощная очарованность. Ей стало хорошо рядом с ними. Она должна была за это отомстить.

– Шура, Аня, а давайте после работы в «Гвозди» забежим! Поболтаем, сухого вина выпьем...

Классический тип положительного очкарика, каковой, испортив чтением глаза и приобретя полезные знания, остался чист, народен по глубинной сути и, поверите ли, надежнее иного слесаря защищен от буржуазной растленности. Будто сам знаменитый симпатяга Шурик из «Кавказской пленницы» сбежал. А «Гвозди» – это кафе «Гвоздика», но в последних двух буквах призывно-алой вывески перегорели лампочки, и теперь, чуть стемнеет... Но Шурик или не Шурик, а в «Гвозди» они с ним не пойдут. Аня на этих днях вышла замуж, у нее медовый месяц, о Гирник и подавно речи нет.

– Нельзя. Еще напьемся, чего доброго. Я песни горланить начну. А знал бы ты, до какой степени у меня нет слуха!

– У меня тоже слуха нет! Напейся, пожалуйста! Пой, сколько хочешь! Нет ничего чудеснее, чем пьяная женщина... только это должна быть хорошая женщина, понимаете, не какая-нибудь...

Однако! Не хочет ли беглый Шурик намекнуть, что кой-какой растленности он все же набрался и щи теперь хлебает не лаптем? Ну, так и есть:

– Я вчера был на потрясающем поэтическом вечере. Его не очень-то рекламировали, боялись, что запретят, но народу все равно набилось, не продохнуть. Было несколько интересных поэтов!

– Мог бы и нас предупредить.

– Не мог: сам узнал в последнюю минуту. Там был один поэт, он о Пушкине такое... Наизусть с одного раза не запомнишь, но, в общем, он побуждает его непременно пойти на смерть. «Стыдно быть поэтом в тридцать восемь», – так он говорит, и потому «Камер-юнкер, будьте дворянином!» Пушкину пора было умереть, понимаете, он высказал это прямо! Вот где смелость! А последние две строчки я запомнил, да и вы не забудете, такая в них сила: «Если он раздумает стреляться, я вас вызываю на дуэль!» А!? Он сам готов стать на место Дантеса, только бы Пушкин не посрамил своей славы!

«Гете дожил до старости и ничего не посрамил», – хочет сказать Шура. И молчит. Он так счастлив, невинная душа, прямо сияет. Вольнодумная идея, что из высших соображений можно и Пушкина своими руками прикончить, опьяняет его слаще, чем все напитки гостеприимного заведения «Гвозди». Какой смысл портить ему удовольствие? На свой манер он любитель прекрасного. А Пушкина уже все равно убили без него...

Хорошо бы присесть, устала что-то.

Присесть? Что за чушь? Мало тебе, не насиделась?

Глава IV. Шторм в ушате помоев

А склока между тем набирает обороты. Дважды казалось, что она заглохла, вытесненная новой сенсацией, но оба раза упования оказывались тщетными. Сначала не только отдел, но весь НИИ очумел от выставки художника Недбайло, которую непонятно, кто и как, но кто-то и как-то разрешил устроить прямо в здании, во время работы. Весьма далекий от предписанного свыше соцреализма, вызывающе лохматый, ехидный и угрюмый, Недбайло развесил свои ядовито-красочные, абсурдно-сюжетные и определенно диссидентские примитивы на лестничной клетке и в коридорах, и все живое высыпало смотреть, возмущаться и задавать автору вопросы, один другого глупее.

– Что это значит? Вы на что намекаете?

– Искусство не намекает, – ронял Недбайло с отвращением.

– Да? А эта церковь, из которой кровь течет?.. Вам вообще-то кто позволил?..

– А голова на ножках, как паук, это, по-вашему, что, красиво? Уродство! Не заснешь потом... Художник должен создавать прекрасное! Поучились бы у Рафаэля!

– Нет, вы людям объясните! Может, тут символ какой, но для простого человека – бред! На небе у вас месяц, и все видно, цветное все, а при месяце все тусклое! Вы, чем придумывать, вышли бы ночью да посмотрели, как оно... Вот что хотите, молодой человек, а я ваших пейзажей не понимаю!

Но тут примчался некто с требованием администрации, чтобы «все это немедленно убрать», и живописец, явно не впервые переживающий подобный афронт, невозмутимо пожал плечами, собрал свои непонятые пейзажи и утащил. Вообще-то он многим понравился, да если и не понравился, так внес в мутную жизнь присутствия яркое неожиданное пятно:

– А чего? Занятно... Талант-то у него, видно, есть...

– Какой там талант? Выпендриться охота!

– Бывают же чудачки, не живется им, как положено, все норовят себя показать...

– Нам за этим добром далеко ходить не надо, у нас свои имеются!

И пошло-поехало: снова о той, что умудрилась навлечь на себя всеобщее озлобление, об «этой Зите». Еще раз сотрудники отдела отвлеклись от своего праведного гнева, занявшись бурным самодеятельным расследованием пропажи золотых часов Людмилы Шаховой, ненатурально рыжей и в высшей степени беременной дамы, которая рассказывала всем желающим, да и не желающим, что у нее порок сердца, врачи запретили ей рожать, но она, даже рискуя жизнью, непременно родит сына и вырастит из него дипломата.

– А если он не захочет? – спрашивали ее.

– У меня захочет! – отвечала Людмила, и было до озноба понятно, что она не шутит.

– А если девочка родится? – не унимались скептики.

– В окно выброшу! – с ненавистью цедила честолюбивая мать, и закрадывалось чудовищное подозрение, что она не шутит и тут.

Шахова принимала лекарство по часам, так что красть их у нее было двойной подлостью. Тем не менее часы исчезли. И тотчас собравшиеся принялись гадать, кто бы мог это сделать. Спорили. Бесстрашно вступали в область предположений, объектом которых мог стать любой, особенно если он имел неосторожность в это время выйти из комнаты. Шура взбеленилась. Хотелось вмешаться, даже наорать на них. Но это было невозможно, и по весьма основательной причине. Физиономия пылала. Наверняка она уже приобрела цвет хорошего помидора. Сейчас если кто-нибудь только глянет на нее, дальше можно не искать преступницу. Уткнувшись в свою, с позволения сказать, редактуру, несчастная страдала молча, чувствуя, как подползает бредовый страх, что это таки она в затмении разума сперла людмилину собственность.

– Пуха! – внезапно выкрикивает кто-то. – Точно! Как она тогда без спросу к Лисицыной в карман залезла и семечки вытащила, помните?

Помнил кто-нибудь столь примечательное событие или нет, осталось неясным. Но предположение встречает благосклонный отклик. Ведь машбюро находится в соседней комнате, вцепиться в кудри автора гипотезы некому. И присутствующие наперебой, с видимым облегчением затараторили, что, мол, конечно, еще бы, просто непонятно, как они сразу не догадались...

– Ничего не докажешь!

– Как это не докажешь? А семечки?!

– Ну, мало ли...

– Ты что, сомневаешься?

– Нет, но Пуха... Она наглая такая... Разве признается? Ей только заикнись, она тебя же...

– Если это Пуха, с ней я связываться не собираюсь! – отрезала Шахова. – Здоровье дороже. Мне моего мальчика скоро рожать, скандал мне не нужен!

Принимая во внимание больное сердце потерпевшей и неистовый нрав обвиняемой, все признают такое решение разумным и, еще малость потолковав о том, как нехорошо брать чужое и почему у некоторых совсем нет совести, ассоциативным путем возвращаются к вопросу, из-за которого отдел лихорадило все последние дни.

– Я прийти в себя не могу! В первый раз вижу, чтобы человек так беззастенчиво...

– Это плевков в лицо коллектива!

– Так оставлять нельзя! Иначе каждый, кому вздумается, будет... Неужели мы ничего, совсем ничего не можем с ней сделать?!

Поначалу эти пересуды без оглядки велись в присутствии новенькой, и она развлекалась, пробуя мысленно восстановить картину происшествия, поднявшего такую бурю. Но еще прежде, чем все звенья встали на свои места, поняла – назревает травля. Гадость какая. Придется расстаться с надеждой выдать себя за незаметную тихоню. И так, вперед, была не была!

– Какое у вас красивое имя, Зита.

Ух, как проворно все ближайшие головы вертанулись в ее сторону! Хотя, право же, эти слова она произнесла только чуть громче обычного.

– На самом деле я Розита! – немного поспешно, но весело откликнулась аппетитная толстушка в облегающем черном платье с красными крупными цветами. – Про это имя даже стих есть:

*Спит Розита и не чувствует,
Что на ней солдат ночует.
Вот пробудится Розита
И прогонит паразита!*

– Вы забываетесь! Мы здесь на работе! – взвизгнула Тамара Ивановна. Столь нервический взвизг означал, что Шура ошиблась: травля не назревает, она в разгаре.

– Но ведь сейчас перерыв, Тамара Ивановна. Немудрящая шутка помогает народу восстанавливать свои силы, растроченные в трудовом порыве.

От изумления у Тамары Ивановны буквально отвисает челюсть. Такого она от Гирник не ожидала. А зря. У Шуры, слава богу, и гены, и школа: мама, вот кто умеет приструнить начальство! Вплоть до: «Выйдите, прошу вас, на площадь перед заводоуправлением». – «Это еще зачем?» – «Там я смогу высказать все, что о вас думаю. А если я это сделаю здесь, вы можете притянуть меня к ответу за оскорбление при исполнении служебных обязанностей!»

Да, чего-чего, а начальства Шура не боится. Никакого, будь оно хоть министром. Зато у нее есть причины опасаться другого. Самой себя. Тех же маминых генов, той же ее школы. В семейном арсенале плоховато со шпильками и булавками, там все больше тяжелая артиллерия, мало пригодная для конторских позиционных боев. Пассаж насчет народной шутки – большая удача, это ее, как скажет та же мама, «ангелы надоумили». Она, неподражаемая Марина Михайловна Гирник, зверь большой и мирный. Долго терпит мелкие наскоки, но уж коли взорвется, способна так шарахнуть кулаком, что обидчик с валидолом в зубах устремится в медпункт, а победительница, растерянно уронив свои могучие красные руки молотобойца, будет смотреть на покореженный кульман. И умная, поседевшая в конторских сражениях коллега вздохнет грустно: «Ну зачем вы так? С ним надо иначе. Вы его сперва распускаете слишком, потом слишком пугаете. Посмотрите, как я делаю: чуть он головку поднимет, я его легонько по темечку – тюк! Он опять, и я снова – тюк!»

Мама так и не освоила этой стратегии. Но и Шура, даром что ей далеко до материнской мощи и уравновешенности, неуклюжесть материнскую получила в наследство сполна. Будет ходить, стиснув зубы, истыканная бабскими шпильками, что твой дикобраз, а потом, неровен час, как взгромоздится на котурны, как возопит: «О люди! Жалкое, лицемерное крокодилово племя!..» То-то умора получится.

В столовой они усаживаются за один столик втроем – Аня, Зита и Шура. Вызов брошен, отдел все уже понял. Правда, бойкот и прежде не был абсолютным: Аня Кондратьева продолжала общаться с Зитой. Ей, всеми любимой, такая «мягкотелость» кое-как прощалась. Но трое – это уже бунт, а выходка Гирник, не любимой пока что никем, возмутительна вдвойне. Она-то как смеет? Не успела появиться в отделе, уже характер показывает? Да знает ли она вообще, что произошло?!

– А в самом деле, Зита, как это все началось?

Зита самодовольно посмеивается. Губы сочные, в улыбке что-то плотоядное. Хотя ей за сорок, мужикам она, небось, нравится больше молодых. Еще одна причина для неприязни.

– Все просто, Шурочка. Я отказалась ходить на овощебазу и субботники. У меня больные почки, мне это вредно.

– И только-то?

– Тебе мало? Да они все на меня набросились! Как свора собак! «А у меня печень!» «А у Лисицыной легкие!» «Все ходят, а ты отказываешься?» – «Пусть, – я сказала, – все поступают, как хотят, а за себя я решила».

– Ты права! – у Гирник отлегло от сердца. Она побаивалась, уж не совершила ли жертва преследования чего-нибудь неблагоприятного. Тошно защищать гонимого, который тебе же в душе противен.

– А ты не хочешь отказаться от базы? – азартно спрашивает собеседница, торопясь сплотить ряды восставших. – Неужели у тебя не найдется какой-нибудь подходящей хвори?

– Вроде бы нет.

Против овощебазы Гирник ничего не имеет. На днях отдел опять гоняли туда, и она обнаружила, что хотя ехать приходится на далекую окраину, а перебирать гниющие огурцы в промозглом полутемном помещении под началом грубой, развязной тетки – удовольствие небольшое, зато после обеда сразу отпускают домой. Часа четыре выгадываешь. До нее уже дошло: в этой игре время – главная ставка.

– Жаль. Ну, ничего не поделаешь. Говорят, ты филфак закончила? Завидую! Я всегда любила читать, а уж в юности – прямо запоем. Особенно Гюго. Мне нравится, знаешь, чтобы сильные страсти, яркие характеры...

Что ж, надо приятельствовать. Пусть она жалеет, что у собеседницы нет хворей, – это от яркости характера. Человек уже весь в борьбе, прикидывал, нельзя ли и шурины недуги использовать как орудие защиты и нападения. Хотя с виду старший инженер Розита Розен-

таль похожа не на даму-воительницу, а на пышный, начинающий увядать цветок. Хмыкнув про себя, Шура вспоминает покойную бабушку-немку, ее привычку переводить на русский все поддающиеся такой операции фамилии. Услышав, скажем, про Евгению, она бы непременно сказала: «Беренберг? Это значит Медвежья Гора»... А Розенталь – кажется, Долина Роз? Ну да, понятно: ЦНИИТЭИ не подходящее место для Розы Долины. Даже если она смахивает скорее на разлапистый пион. Ну и ладно. Зато ей не чужд Гюго.

– Я бы еще больше хороших книг прочла, если бы в другое время расти. А я вместо этого всякой сталинистской чуши наглotalась. Такая была рьяная, вспомнить страшно. Однажды к нам мой дядя приехал с Урала, чудный человек был, я его с детства боготворила. Сидит за столом и вдруг, слышу, маме говорит: «Все-таки Сталин негодяй...» А мне шестнадцатый год, нрав бешеный. Как закричала: «Вон из нашего дома! Ближко не смей подходить! Еще раз увижу тебя – доложу, куда надо, что ты враг! Честное комсомольское!» И я бы сделала это! Дядя тогда сразу уехал. Так и не виделись больше. Он через несколько лет умер. До сих пор жалко. Какая дура была!

Мгновенно проникнувшись доверием, Зита теперь много рассказывает о себе. С ней легко – и скучновато. Потому что сама по себе персона Шуры Гирник, равно как и Ани Кондратьевой, ее явно не интересует. В зитиных глазах они всего-навсего две зеленые девчонки, добрые и безвредные, которые в этой ситуации подвернулись весьма кстати. Прошло дня три, и она открыла им тайну: они с мужем уезжают в Израиль! Уже скоро! Месяца четыре, от силы шесть, и ее здесь не будет. Но пока – смотрите же, никому!

По тем временам новость была редкостная, от нее тихо, завистливо кружилась голова. Значит, хоть кому-то теперь можно вырваться отсюда... Пусть не мне, все равно здорово...

– Да почему, почему не тебе? – сердилась Зита. – Там понимающие люди, тем, кому здесь не вмогуту, идут навстречу. Можно выправить фальшивые документы, я сама слышала! Давайте договоримся: если кто-то из вас или ваших близких решится, сразу шлите мне письмо, и пусть в нем будет условная фраза. Например, «Шура Гирник чувствует себя хорошо». И все! Я буду знать, что Шуре нужно еврейское происхождение, и я ей его организую! Ах, девочки! Как я уже сейчас люблю Израиль! Свободная, демократическая страна! Да ради нее я, если потребуется, и автомат возьму!

О железной закономерности, с какой у людей определенного склада и воспитания мысль о любви тотчас влечет за собой мечту об автомате, Гирник в ту пору не догадывалась. Равно как и о том, что от низвергнутых кумиров юности в душах остаются пьедесталы. Опустевшие пьедесталы, тоскующие о суровом идоле. И кого туда потом ни взгромозди – Будду, Христа, Родину-мать или аллегорическую фигуру Прогресса – тотчас у монумента пробиваются беспощадные усы, а неофита обуревают трагически-похотливая жажда кого-нибудь крушить во имя...

Нет, еще не посещали Шуру такие мысли. Пылкость Зиты ей симпатична. Но не настолько, чтобы хотелось разделить эти порывы, – вот уж нет! Бежать за кордон, рискуя и там услышать трубный призыв родины, пусть демократической, но тоже, видно, не чуждой трубных призывов? Снова велят встать во фронт перед державной идеей? Как-то оно глупо. И потом, родители ее и Скачкова, сестра, друзья... разве вывезешь столько народу, да еще по фальшивым документам? Нечего попусту душу растравлять. Шура Гирник чувствует себя плохо! Аминь.

Но вот странность: сейчас ей сверх ожидания живется бодрее, чем в первые дни службы. Здесь, где для нее нет и быть не может ничего реального – ни осмысленного дела, ни сердечной близости, ни забавы для ума – только вражда и способна быть настоящей. («Что, если и они поэтому такие злобные?»). Каждое утро она входит в здание ЦНИИТЭИ, как в логово врага. Собранная. Нервы натянуты до звона. Спина прямая – да, привычная читательская сутулость, и та куда-то исчезла. Из зеркала, что в дамском туалете, на нее взирает теперь дьявольски чет-

кая физиономия с такими сверкающими глазами, каких она у себя не помнила. С эстетической точки зрения эта новая Гирник себе нравится. И в толпу сослуживцев она теперь входит, как нож в масло: какие там подковырки, шпильки? На них нарываешься, когда, развесив уши, вся расплывешься в лирических ощущениях. А сейчас – нет, она и сама чувствует, как невыгодно ее задевать. И болтовня отдельская при ее появлении разом глохнет. Так-то вот, товарищи дорогие. В каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ!

– И все же, Александра Николаевна, что ни говорите, женщина...

Ага, даже Федор Степаныч думать забыл про «Шуренка»!

– Женщина? О чем вы?

– Да так, вспомнилось... Один мудрый француз тонко подметил, что женщина, сколько бы ни заносилась, истинных высот не достигнет. И знаете, почему? Потому что самой природой обречена помнить, что на свете существуют другие!

– А коммунист?

– Позвольте... Что вы сказали?

– Разве коммунист не осужден на ту же участь? Помнить, например, что существуют трудящиеся массы? Они ведь тоже «другие». Притом, заметьте, этих «других» очень много!

Ответа Александра Николаевна не дождалась. Был только взгляд. В нем она прочла, с каким наслаждением, как медленно Федор Степанович расчленял бы ее на множество мельчайших кусочков.

Глава V. Монологи под сенью монстеры

Неприятный оборот положение стало принимать тогда, когда администрация НИИ вдруг проявила интерес к нарушительнице бойкота, коим общественность одного из отделов выражала старшему инженеру Розите Иосифовне Розенталь порицание за проявленный индивидуализм. Сперва Шуру перехватил – похоже, подстерег! – в коридоре Человек без лица, завкадрами. Ей к тому времени все же удалось кое-как его запомнить, и она исправно:

– Здравствуйте, Сергей Анатольевич.

– А, это вы? – строго и пренебрежительно бросил безликий. – Пойдите-ка.

Приостановившись, она ждала. Он держал паузу, изучая ее с той миной, с какой смотрят на гадкое, но не вполне понятное земноводное.

– В чем дело? – не выдержала первой.

– А сами не догадываетесь?

– Нет.

– Хочу дать вам добрый совет. Вы еще молоды, это вас извиняет, но пора, Саша, повзреть. Научиться разбираться в людях.

– Меня зовут Александра Николаевна. И я все еще вас не понимаю.

– Уж будто? Гм, допустим... А если я вам скажу, что вы неудачно выбираете друзей? Крайне неудачно! Такая ошибка, знаете ли, может в будущем очень повредить. Учтите: есть обстоятельства, которые вам не известны... Ну? Что вы молчите?

– Жду, когда вы объясните, о каких друзьях и обстоятельствах идет речь.

– Речь идет о том, что вам лучше прекратить нежелательное общение... Александра Николаевна! А объяснений не будет!

– Сергей Анатольевич, я не ребенок и прошу меня не пугать. Или выскажитесь определеннее, или наш разговор бесполезен.

Человек без лица удалился ни с чем, а Шура, про себя хихикая, помчалась к Зите докладывать обстановку. Тайна обнаружилась, это очевидно! Начальству сообщили, что у них в штате завтрашняя эмигрантка. Засуетились, не знают, что бы такое предпринять. Ну, посмотрим, что дальше будет.

Дальше было странное. Шуру – не Зиту, ее теперь опасно обходили стороной, словно она была бомбой, готовой взорваться, – так вот, редактора Гирник из большой комнаты пересаживали в маленькую соседнюю. Теперь злодейка Розенталь могла видеться со своей сторонницей только на курительной лестнице и в столовой. Что ж, тем веселее они там шутили и смеялись, боковым зрением ловя косые взгляды едоков и курильщиков. И милая, никому не подсудная Кондратьева смеялась с ними – свое крамольное веселье они по-прежнему соображали на троих.

Из окна узкой, похожей на пенал комнатки, где сидела теперь Шура, не видно черных труб. Только дым одной, крайней, при порывах осеннего ветра то попадает в кадр, то исчезает. Столы стоят по два – первая пара упирается в подоконник, вторую сдвинули к самым дверям, а пустующую середину занимает монстера в огромной кадке. Лиана тшится раздвинуть стены с отчаянным усилием Лаокоона, обвитого змеями. По утрам, входя и учтиво здороваясь, Гирник думает, что обращается к страждущей монстере, ибо на здоровье остальных присутствующих ей чихать. Исключение составляет задушевная, улыбчивая Нина Алексеевна – эту бы стоило отравить. Из-за нее нечего и думать раскрыть книгу: о нарушении дисциплины будет тотчас доложено. Не втихаря – нет, гордо и открыто, ибо Нина Алексеевна не простая наущница, а своего рода поэт доносительства:

– Я и дочку учу, – взгляд женщины теплел, – всегда, говорю, доча, если видишь, что кто-нибудь неправильно поступает, пойдя да скажи тем, кто его поправить обязан. И не сты-

дись, головку неси высоко, это же честный поступок! Так бы все делать должны, то-то и беда, что не все пока... Она у меня в третьем классе, а ее уже не одни ребята – даже учителя некоторые боятся! Потому что она и к директору ходит, вот какая! Смело идет прямо в кабинет и какой непорядок приметила, все расскажет! Способная... У меня на нее, на Люсечку мою, вся надежда. Сын-то непутевый, даром что шестнадцатый год: ничего знать не желает. Но Люсечка мне и тут помощница. Как он за телефонную трубку, она бегом в коридорчик, у нас там другой аппарат. Она тихонечко трубочку подымет и слушает. И мне потом до слова все передает. Но уж об этом мы ему не скажем, это у нас с ней секрет, а то еще побьет маленькую, поросенок!

Обитатели пенала – как на подбор монологисты. Каждый городит свое, не слушая, но и редко перебивая других. Замолкнет Нина, и наступает тишина. Но не надолго. Сладко запрокинувшись, заломив руки, долговязая тощая Олимпиада стонет:

– Боже! Если бы вы знали, как вы мне все надоели!

Резонерка Нина Алексеевна, и та ленится отвечать ей. Не дождавшись реакции, Олимпиада продолжает:

– Мне снились увядающие ирисы. Я плакала над ними, а они роняли свои лепестки. Потом пошел дождь, как будто сама природа плакала со мной вместе.

«Ирисы не роняют лепестков, – про себя придирается Саша. – Их цветы скукоживаются и болтаются на стебле, как тряпки!»

И прикусывает язык, чтобы не брякнуть чего-нибудь вслух. Обидеть эту юродивую было бы последним делом. А что она со своими романтическими позами – злющая, просто убийственная пародия на самое Александру Николаевну Гирник, об этом никто не догадается... Ох, теперь ее увлекла тема дождя! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!

– Я всегда мечтала отдаться в дождь. Вам не понять, как это прекрасно. Вот представьте: мы только знакомы. Он... ну, например, живет в том же доме, но в соседнем подъезде. Однажды он приходит ко мне, чтобы попросить... да, попросить таблетку анальгина! У него разболелась голова...

– Это в аптеку надо, – сообщает Нина Алексеевна назидательно.

– Аптека закрыта, уже вечер, сумерки... И вот пока я ищу анальгин, начинается дождь. Настоящий ливень, струи стекают по оконному стеклу, и я... я предлагаю ему переждать, выпить чашечку кофе, ведь это безумие – выходить на улицу в такую непогоду. Я готовлю кофе, но не успеваю. Порыв желания охватывает нас, мы бросаемся друг к другу, я падаю в его объятия, а за окном дождь, дождь...

– Подумаешь! – юная прыщавая богатырша Света фыркает громко, как лошадь. – У меня этот нахал со своим порывом катился бы колбаской с нашего седьмого этажа до самого первого! Видала я таких кобелей! Аспирин им, как же! Сейчас!

– Грубые все, вульгарные! – вздыхает Олимпиада и выходит из комнаты, не желая слышать дальнейших соображений Светланы. А той есть что сказать:

– Она зато нежная! Вот уж действительно! Ты, Шур, не поверишь! С каждым! Со всем институтом путается! А ведь ни кожи, ни рожи! Да и старая уже, ей все тридцать! Их же, кобелей, что привлекает? Что отказа нет! Когда ни приди, хоть пьяный, хоть какой, всегда пожалуйста! А туда же, про цветочки! Нет, мужиков главное в узде держать. Вот в прошлом году, когда мы были на картошке, один Коля, он из другого отдела, ты не знаешь, плакал даже, на коленях стоял! А я сказала: «Пошел вон!»...

«И зря. Прыщей многовато, – думает Гирник, и вдруг вздрагивает от омерзения. – Что это я? О чем я?»

На лестнице, уже смеясь, говорит подругам:

– Меня загнали в местный дурдом!

А впрочем, разве Нина Алексеевна со своими доносами безумнее, чем Федор Степаныч со своим половым расизмом и выдающейся эрудицией? А Шахова с дипломатом в брюхе что,

нормальнее, чем Олимпиада со своим дождем или Светлана, осатаневшая на страже девичьего сокровища?

Глава VI. Дезертирство

Новый демарш противника неожидан: объявлено сокращение штатов ЦНИИТЭИ. На одну персону! Гадать, кто бы это мог быть, не приходится.

Зита в ярости. Теперь ее черед, покусывая губы, бормотать:

– Неужели мы ничего, совсем ничего не в силах сделать?

Градус ее кипения не совсем понятен. Все равно же скоро... Как не махнуть рукой, теперь-то, когда руки вот-вот превратятся в крылья, и прощай все это?

– Фиг им! Муж нашел выход! – торжествуя, Зита расцветает на глазах, сейчас опять видно, что она Роза Долины. – Есть закон, по которому меня нельзя подвергать гонениям! Ну, не закон, а там какое-то обязательство, соглашение было подписано с иностранцами, в общем, я не вникала, но только Гриша пошел в дирекцию и с документами в руках им это растолковал! Вежливо, с улыбкой – он умеет! Они трусили! Наша взяла!

По рассказам, он суцая прелесть, этот Розенталь. Ученый, кажется, математик. Такой хороший, что у него на работе коллеги чуть не плакали, выгоняя его из партии, а он еще их утешал. Впрочем, сию трогательную деталь живописуют Зита и Аня: одна не объективна, другая так доверчива, что без конца попадает на этой почве в горестные переделки. Как-то сложно вообразить сборище партийцев, которые точат слезу, исторгая из своих рядов не то что обаятельного Розенталья, а хоть самого Эйнштейна.

Напудренная физиономия Тамары Ивановны напряжена, будто начальница держала пари, не моргнув глазом, скушать лимон без сахара:

– По ряду соображений мы не настаиваем на уходе Розенталь. Но сокращение штатов объявлено и должно состояться. Если Розенталь не уйдет, нам придется уволить Гирник!

Они что же, думали, я испугаюсь?

Дома Скачков, услышав веселое сообщение, что ее выгоняют, нахмурился:

– Зря ты так легко сдаешься. У них нет права тебя сокращать! В нашем отделе свои юристы, они мне подтвердили: молодой специалист сокращению не подлежит. Они закон нарушают, ты могла бы обратиться в суд! А найти новую работу не так просто, пробросаешься. Я тебе рассказывал, как в шестьдесят пятом не дал себя уволить?

Рассказывал, как же... Помнит она эту вашу эпопею. Сперва – треп и анекдоты молодых инженеров, потом – донос местного старичка-отставничка, внимательно слушавшего из угла их вольные речи, а там появление людей в сером, первые допросы, на которых все держались, как боги, вторые допросы, когда кое-кто дал слабину и стал валить на товарищей, третьи допросы, где разъяренные товарищи уже в отместку топили тех, кто их подставил. Старец был то ли бестолков, то ли подслеповат: крамольные высказывания запомнить запомнил, а из чьих уст что вылетело, доложить не смог. Это и выясняли. О тюрьме речи не было, ведь не тридцатые, не сороковые – середина шестидесятых. Но над всеми нависла угроза вылететь с работы, а может, еще и потащить за собой хвост, с каким уж ни по службе не продвинешься, ни в командировку хорошую не пустят.

Только у одного из них, у скачковского, а теперь уже и шуриного друга Толи Кадышева, хватило решимости подать заявление об уходе, едва началась вся эта гнусь. Прочие персонажи драмы зубами вцепились в свои стулья. Скачков в том числе. Нет, он-то никого не топил, а потому и у других не было резона топить его. Держался скромно, гибко, осмотрительно. В конце концов разогнали всех остальных, а вопрос о нем, последнем из храбрых болтунов, должны были решать на комсомольском собрании. Ну, так он несколько раз проводил до метро местную комсомольскую вождицу, унылую старообразную деву, посмешил ее, поулыбался («Нет, не подумай – ничего больше!»), а заодно признался доверчиво, что боится, как бы не сказать там, на собрании на этом, чего лишнего. Он был, конечно, кое в чем неправ,

не дал должного отпора злоречию и ответственности с себя не снимает, но кто он такой? Шкет! А ведь поначалу не кто-нибудь – директор в этой истории был горой за их отдел! Даже сам иной раз забежал поговорить и кое-что осуждал... нет-нет, он сознает, насколько неуместно было бы сейчас привлекать к этому обстоятельству излишнее внимание, он будет помалкивать, о чем речь? Но если на него навалятся всем скопом, просто нервы же могут не выдержать! Понимаешь, Валечка, я такой нервный...

И обошлось: о собрании сочли за благо забыть, увольнять Скачкова не стали, короче, то был крупный дипломатический успех. Шура это понимала. А о том, что она бы много дала, лишь бы не было этой победы, лишь бы он тогда ушел просто и чисто, как Кадышев, Скачков так и не узнал. Ведь все позади, упрек прозвучал бы наивно, а проявлять наивность Александра Гирник не желает: во всем, что касается социума, ее конек – скептицизм. И однако... Это рабское хитроумие, разве оно ему пристало? Что дозволено быку, не дозволено Юпитеру – известный афоризм она склонна трактовать так.

И вот теперь ее гонят из ЦНИИТЭИ. Взывать к правосудию, чтобы разрешили остаться? Что за дикая мысль. Впрочем, муж, к счастью, не настаивает. Прочие домашние – и того меньше.

Мама:

– Держаться за этот клоповник? Да ну его ко псу! Не уговаривайте ее, Витя, вы же знаете, что ваша благоверная упряма, как ослица. А сейчас она еще и права!

Отец (не достаивая зятя взглядом, даже таким презрительным, на какие он большой мастак):

– Никаких прав молодого специалиста у тебя быть не может. Ты по собственной вине потеряла их, когда не пошла в Ленинскую библиотеку. О суде забудь!

Хитрый старик лучше всех знает, что она не станет судиться. Но дело должно выглядеть так, будто дочь подчинилась ему, священный авторитет отца подавил дурацкое влияние мужа. А Верка – счастливица, первокурсница! – беззаботно прощелбетала:

– Стоило бы их проучить! Пусть бы они на тебе зубы поломали!

У сестрицы очаровательная манера не сомневаться, что ее Шура – кушанье, после которого неосторожному людоеду не миновать зубного протезирования. Самой бы Шуре хоть малую толику подобной уверенности!..

– Но ведь бороться с ними, наверное, ужасно скучно? – Вера томно вздыхает, отмечая надоевшую тему взмахом ресниц. – Кстати, о скуке: Вадим снова сделал мне предложение! И Кадышев опять круги пишет, а ведь они с Таткой собираются пожениться. Ну не идиот? Перебегать дорогу Молодцовой я бы не стала, будь он хоть сам Юрский!

Ах, Юрский! «Кюхля», «Ваш верный робот»... То и другое – всего лишь по телевизору. Сестры Гирник не из тех, кто способен обожать артистов, подкупать гардеробщика, чтобы благоговейно постоять в калошах Собинова, да и вообще по какому бы то ни было поводу толпиться и верещать. Но Юрский... да...

– В этом случае, сестрица, тебе пришлось бы иметь дело не с Молодцовой!

– Фиг тебе, золотая рыбка! А Скачков?

Уела.

Прослышав, что подругу сокращают, Зита подстережет ее на лестнице, чтобы объяснить без свидетелей:

– Ты не злишься?

– За кого ты меня принимаешь? – пока еще чистосердечно возмутится Шура. – Они хотят нас посорить, и я доставлю им такое удовольствие?

Не дождавшись даже этого скромного удовольствия, общественность постановляет рассмотреть на собрании персональное дело Розиты Розенталь. Ей – общественности – так не тер-

пится, что собрание назначают на 30 декабря 1970 года, последний день пребывания Гирник в штате института. Расправа должна начаться, как только уволенная выметется за порог, перестав прикрывать Зиту с фланга. Прыщавая Света полу-сочувственно, полу-злорадно передала Шуру фразу Тамары Ивановны:

– Будет знать, с кем связываться!

Зайдя под каким-то предлогом в большую комнату, Гирник спросит начальницу при всех:

– Тридцатого я еще на работе?

– Да, но вы можете прекратить посещения начиная с двадцатого. Вам дано право потратить это время на поиски новой работы.

– Спасибо, несколько дней я охотно потрачу. Но и сюда приходить буду. На собрание тридцатого приду непременно. Это право у меня тоже есть!

– Какая же вы...

– Какая, Тамара Ивановна?

– Неважно. Идите. Я занята!

Опять начались неуклюжие «деловые» звонки, хождения по отделам кадров, скованные, нудные, бесполезные переговоры. Но в ЦНИИТЭИ Шура забегала регулярно, чтобы ни сама Зита, ни кто-либо другой не подумал, будто она готова отступить.

– Мы им покажем! – повторяли они друг другу, задорно встряхивая головами и улыбаясь почти без усилия.

Дней за пять до эпохальной битвы Гирник застал в ЦНИИТЭИ звонок мужа:

– Операция завершена! В январе перехожу на новое место. И обещанную двадцатку ухватил! А у тебя что?

– Съездила я в ту типографию. Ничего не вышло. Да ладно, все равно ура.

– В честь чего «ура»? – Зита стояла рядом, смотрела сочувственно.

– Скачков переходит на другую работу. С повышением. Дают сто пятьдесят.

– Замечательно! Камень с души!

– Камень? Почему?

– Ну, я боялась, что ты с голоду умрешь. Тебя же из-за меня выгоняют. Совесть мучила, я-то могу в любую минуту уйти, мне недолго осталось, просто очень уж хочется им нос натянуть. А раз сто пятьдесят, вы худо-бедно продержитесь, ничего...

Вот, значит, как. Ты «боялась» уморить меня голодом, но ради спортивного интереса мужественно преодолевала страх. Забавно. А еще забавнее, что ты проговорила. Как же я должна быть, по твоим понятиям, проста, если ты не потрудились этого скрыть! «Спит Розита и не чувствует...» А впрочем, ты ведь и не ошиблась: не брошу я тебя. Не та ситуация. Все равно, как миленькая, попрусь на собрание, выступлю – разыгрывать дуру, так до конца. А утешаться буду тем, что потом уже ни этого поганого заведения, ни тебя, боевая подруга, больше не увижу!

Разделавшись мысленно с Зитой, Шура тем не менее азартно готовится к предстоящей схватке. Давненько она не тягалась с численно превосходящим противником. Со школьных лет – тогда ей нравилось отливать пули целому классу и посмеиваться, зная, что в словесной баталии им с ней не сладить. Обидеть отдельного человека ей и тогда было мучительно: самому последнему гаду, чтобы получить по заслугам, надо было довести ее аж до бешенства. А вот бросить свое презрение в многоглазое, многоротое лицо толпы – одно удовольствие, ведь толпе не может быть больно.

Пойдет ли все так же гладко и теперь? Навык утрачен, симпатия к соратнице остыла, так что все это, в конечном счете, глупо. И неприятно. Ведь – ох, заранее мутит! – придется пуститься в демагогию. «Слушаю вас и не верю своим ушам. Вы толкуете о коллективе, но у коллектива, как и у личности, должны быть разум и достоинство. И уважение к своим же принципам. Где все это? Если добровольность – решающий принцип нашей общей работы

на субботниках и овощных базах, а этого, надеюсь, никто отрицать не будет, значит, никто и не вправе ополчаться на того, кто не участвует в этой работе. Своими нападками вы оскорбляете не Розиту Иосифовну, а саму социалистическую идею добровольного труда, которой Ленин...» Тьфу, пропасть, неужели она и Ленина приплетет?

А ведь придется. Они так обозлены, что охладить их пыл могут только сильные средства. Брр! «Ленин, товарищи, не затем выходил на субботник, чтобы мы сегодня...»

Хорошо, что никто из настоящих друзей не услышит, как она понесет эту ахинею, не увидит, как у нее не на шутку разгорятся щеки, потому что всей иронии наперекор она распихуется, как последняя дура. До и после – знаешь, что все это пошлый фарс, а поди ж ты: в момент действия кипятышься так, будто дело о жизни и смерти. Есть здесь что-то унижительное.

– Завтра! – Зиту тоже лихорадит. – Учтите, девочки: завтра у нас не будет времени обсудить, как действовать, что говорить. Надо сделать это сейчас! Будьте внимательны, тут важно ничего не перепутать. Сначала встану я и... ладно, я-то знаю, что сказать, а времени мало. Потом выступит Шура. Ты, Шура, подтвердишь, что я все сказала правильно – только не робей, говори твердо, громко, не запинаясь! Может, тебе даже стоит вечером потренироваться, а то еще мямлить начнешь, собьешься... да нет, ты такая умница, справишься, это ведь просто. Ты им скажешь, что сама видела два... нет, лучше три раза видела, как Шахова в рабочее время вяжет в туалете, а Лисицына – ох, стерва эта Лисицына, она еще опаснее Шаховой! – Лисицына с перерыва то и дело возвращается с опозданием, потому что по магазинам ходит! Ты скажешь так: «Она почти каждый день прогуливает по часу или полтора, я столько раз это замечала, что и сосчитать невозможно!» А тут вступаешь ты, Анечка, и говоришь, что...

Все же замедленная реакция – ценное свойство. Гирник не соскочила, как ошпаренная, с подоконника, где она сидела, внимая зитиным распоряжениям. Не завопила к вящей радости вражеских полчищ, что знать больше не желает ни самой Зиты, ни этой склоки полоумных, и пропадите вы все пропадом! Нет: она еще кивала сосредоточенно, но в план кампании вникать перестала. А про себя думала: пожалуй, все к лучшему. Теперь она свободна. И нет нужды тревожить прах, что покоится в мавзолее, одновременно любуясь живым воплощением в лице замдира, отчего на нервной почве и расхохотаться недолго...

Все.

Дома, объяснив, что случилось, она попросит мужа:

– За час до начала собрания, то есть в два, позвони мне на службу. Дозвонись обязательно! И скажи, что...

– Что я при смерти, и если не приедешь сейчас же, вряд ли застанешь меня в живых?

– Нет! – не любила Шура такого вранья, хоть суеверной себя не признавала. – Скажи, что водопроводная труба лопнула, квартиру заливают..., ну, в этом роде. Никто не должен догадаться, что между нами не все в порядке. Довольно того, что я улизну перед самым генеральным сражением. Обещала помочь этой чертовой Зите, так надо хотя бы ей не навредить.

Ухмыляясь то ли саркастически, то ли умиленно, супруг разглядывает ее побагровевшую физиономию. А потом изрекает отравленную фразу, чьей меткостью Александре Николаевне суждено поневоле восхищаться всю оставшуюся жизнь:

– Что в тебе бесподобно, так это решимость, с которой ты преодолеваешь такие препятствия, каких другой бы просто не заметил!

Глава VII. Белые Столбы

– У него множество излюбленных идей, притом иные из них весьма обременительны для его жертв. Одна, самая злостная, состоит в том, что каждый истинный специалист обязан всю жизнь, в особенности смолоду, безудержно повышать свою квалификацию. А коль скоро дня для этого мало, подобает трудиться и по ночам. Образ молодого киноведа, далеко за полночь склоненного над книгой, неизгладимо запечатлен в его сердце.

– А он, гад, страдает бессонницей! И вот представь: шастает ночами по поселку! Как голодный вампир! Заглядывает в окна! Проверяет, не слишком ли рано они гаснут!

– Несколько лет назад здесь произошел прелестный случай. Он так допекал одного юнца упреками, дескать, можно ли заваливаться дрыхнуть в половине одиннадцатого, что тот решил его провести.

– И перестал тушить свет! Так и храпел при лампе! Директор был очень доволен! Восхвалял его по всякому поводу: «Когда ни выйдешь, окно Ферапонтова горит! Вот как надо работать! Этот юноша далеко пойдет! Сначала он ленился, но сумел преодолеть себя и взяться за дело с душой!» Высокий ферапонтовский пример всему Госфильмофонду в печенках засел!

Они говорят по очереди, с такой живостью перехватывая друг у друга рассказ, будто он заранее отрепетирован. Смеясь, но не слишком вникая – вот уже упустила, о нынешнем директоре речь или это байки былых эпох, – Шура вслушивается в игру знакомых, чуть деланных, но оттого еще более милых интонаций, с необъяснимой грустью (о чем? встретились же, наконец!) смотрит, как Женя то поднимает, то опускает усталые рыжие глазищи, в глубине которых тихо, странно живет мысль, не засыпающая, верно, и тогда, когда самой Беренберг удается приморить таблетками свою жестокую бессонницу, как вспыхивает и гаснет чеширская улыбка Таты – сказочная улыбка, в сиянии которой пропадает без следа ее почти настораживающая некрасивость, да и вообще грубая физическая оболочка теряет значение, ее нет...

– Но Ферапонтов на свою беду был слишком здоров спать. А чтобы хоть часа в три потушить лампу, нужно проснуться. В одну злосчастную ночь директор блуждал по поселку аж в половине четвертого и вдруг увидел, что окно все еще светится.

– Тут даже его проняло! Бедный мальчик, как он увлекся самообразованием! Заболеть может! А квартира ферапонтовская на первом этаже. Так он подошел, на цыпочки встал – хотел в окошко постучать...

– Но слова отеческого увещевания насчет надобности беречь здоровье застыли на директорских устах. Зрелище, представшее ему, потрясло своей гнусностью. Он и год спустя не мог вспоминать об этом спокойно. Ферапонтову пришлось уволиться...

– А еще он запретил собирать грибы вблизи поселка! Приспичило тебе надергать маслят – топай в дальний лесок, а в ближнем не моги бледную поганку пальцем тронуть. Потому что это его поганка. Решил он так! Директор же здесь царь и бог! Местные жители – сплошь его подчиненные и родня подчиненных. Застигнут тебя в этом ближнем леске, на месте преступления, жди, уж он тебе устроит! Так крепостных секли за потраву...

Тихо-тихо приоткрывается дверь. Светлая головка. Бледное тонкое личико. Во всей фигурке – вопрос, но почти без надежды.

– Анна, – Беренберг никогда не повышает голоса, – ты же видишь, у меня гости. Иди, мой ангел, в другую комнату. Или ты забыла? Надо уметь быть... какой?

– Одинокой, – вздыхает Анна. Ей четыре года.

«Чары одиночества», – Гирник про себя усмехается: выражение больше подошло бы Олимпиаде. Но чары есть, они присутствуют в этой пустоватой, еще не обжитой комнате так же несомненно, как и всюду, где находится Женя Беренберг. А с тех пор, как они обе поселились здесь, в Белых Столбах, в этом благословенном (ведь теперь не надо одной возвращаться

во Псков, другой – в Курган!), да, трижды благословенном, но все равно скучном госфильмофондовском доме, Тата Молодцова как будто тоже заколдована одиночеством. Подпала под власть беренберговских чар, или сама научилась той же ворожбе? Какой в ней соблазн... в этой беде, так всех пугающей... только любовь может с ним соперничать, да и то в иные минуты сомневаешься...

– Вы хорошо живете, – говорит она вслух. – Я почти завидую.

Они покачивают головами – у обеих длинные аристократические шеи. Две змеи!

– Как всегда, лукавишь.

– Не будь ты Александром, хотела бы быть Диогеном? Знаю я твою зависть! Но мы действительно живем хорошо. Стихи друг другу пишем! Скачков, конечно, герой-любовник, но есть то, что ему не дано! А мне Беренберг вчера...

Татка декламирует, чуть сбиваясь и, похоже, на ходу домысливая. Евгения слушает, посмеиваясь, и не подсказывает. «Одна мне с тобою корысть, что вместе насущную корочку, сухую, невкусную грызть»... нет, в точности запомнить не удастся. А жаль. Интересно. Только что-то не похоже на Беренберг.

*...Завязав с этой жизнью псиной,
Лишь одно и вспомним про старь:
С какой превосходной миной
Жевали постылый сухарь!*

Совсем, совсем не похоже...

– Ого! Это Госфильмофонд тебя так вдохновил?

– Да. У меня новый псевдоним – Филимон Фондов.

– А я сохраняю верность своему Аввакуму Несытому. Он годен для всех времен и ситуаций!

– Да, это классик... Однако расскажи, что у тебя с работой.

– Совестно поведать, – Шура смеется принужденно, ибо поведать таки совестно. С тех пор как, оставив ликбез, окунулась в жизнь действительную, она только и делает, что попадает в идиотские положения. Одна дружба с Зитой чего стоит! Но там хоть были смягчающие обстоятельства. Здесь – никаких.

– Да будет вам известно, господа судьи, что я чуть не поступила на службу в систему КГБ!

– В самом деле?

Не вздрагивают, спасибо им. Они достаточно хорошо ее знают.

Гебешник, и даже вроде бы крупный, женат на сестре Скачкова. Виктор отзывается о нем, как о человеке, по существу, добром и неглупом, которого жалко: влип, мол, не зная, куда, а назад дороги нет. И по временам – изредка – затаскивает Шуру на какой-нибудь родственник сабантуй. Потом всегда оказывается, к немалому шуриному облегчению, что других гостей нет. Хозяйка, усталая, но радушная, чужая, но приятная, мечет на стол кушанья и напитки, говоря между делом, что Шура еще поймет, какое счастье быть молодой, какая это власть, но подобные вещи всегда осознаешь слишком поздно. И еще о том, что больше всего она бы хотела работать с детьми, в каком-нибудь простом детском садике: ничего на свете не любит так, как маленьких. Но ее собственный маленький мяукает в кроватке, старший – упитанный противный подросток, при встрече учтиво шаркающий ножкой, но любящий будто невзначай запереть гостью в сортире, – тоже требует забот, и мечта остается неосуществимой. Что до хозяина, у него, похоже, есть своя, более достижимая, хоть и не безвредная: забыться. Для этой цели он использует водку такого изумительного качества, что даже Шура пила бы ее с удовольствием, если бы сей напиток не производил крайне неприятного действия на ее спутника.

– Послушай, – заводит Скачков, впадая в резвость этак после третьего тоста, – я одного понять не могу: почему ты меня-то никогда не пробовал завербовать?

– Брось ты это, – тоскливо морщится гебешник. – Рассказал бы лучше, как у тебя с твоим заочным. Третий курс уже? Все сдал?

– Сдам! – лихо отмахивается гость, опрокидывая четвертую. – Я на втором застрял, но в этом году пропу. А ты мне все-таки ответь, в чем дело? При твоей должности даже странно не попытаться... Ты так уверен, что я откажусь?

– Перестань, – хозяин отворачивается, его безнадежный взгляд падает на Шуру, не впервые задающую себе вопрос, чего ради дразнить и унижать заблудшего приятеля, если вправду ему сочувствуешь, а если нет, за каким дьяволом тащиться к нему в дом, пить с ним? Но спросить об этом у мужа она так и не соберется, не хочет посягать на его свободу, вторгаться в эти нелепые родственные отношения. А рядом магнитофон поет про Колыму, и гебешник, в хмельной печали клоня голову на шурино плечо, шепчет:

– Хоть ты пойми, мне до этой Колымы ближе... ближе, чем всем...

Но при последней встрече привычный ход застолья нарушился.

– Эврика! – вдруг закричал Скачков. – А почему бы тебе не устроить Шуру на работу? Ее съели там, в этой их шарашке... Только, ты ж понимаешь, всякие ваши ужасы не для нее, она у нас чистойшей прелести чистойший образец.

Осоловевший от досады, скуки и чистойшей водки, образец вылупил глаза, в панике ища вежливую форму отказа. Но тут хозяин, всплыв из столь желанного ему забытья, неожиданно серьезно ответил, что об этом-де его не надо предупреждать, разумеется, речь может идти только о кабинетной, умственной работе, о занятиях лингвистикой, и пожалуй, это действительно неплохой вариант, потому что хоть дисциплина там несколько строже, но зато и оклады повыше обычных, а в конечном-то счете везде одно и то же. Только попасть в эту систему не так просто. Ничего гарантировать нельзя. Но он попробует. Поговорит кое с кем.

– Я был бы рад тебе помочь, Шура. Веришь? Очень.

– Верю.

Она и правда не сомневается в его доброжелательности. Кем бы ни был в мире этот грустный пьяница, жаждущий утопить свою память о чем-то, про что наперекор всем скачковским подначкам ни разу не проронил ни слова, у него нет причин копать ей яму. Но главное, четыре месяца в ЦНИИТЭИ превратили то, что она считала своим элегантным скептицизмом, в такую безнадегу... Как он сказал? «Везде одно и то же»? Он не далек от истины. Мысль, что будешь служить в конторе, прикрепленной именно к этому ведомству, до дрожи омерзительна. Но не ребячество ли твоя дрожь? Ведомство – не более чем абстракция, что тебе до него? Монтаж ли так и не понятых конструкций, какое-нибудь рыбоводство или эта пакость, у тебя все равно будет стол, стул, груда бумаг, надутое начальство, развязные сотрудники, надобность по восемь часов на дню притворяться мертвой, как жук в клюве, и пробуждение к жизни в восемнадцать ноль-ноль. Есть вещи, к которым ее не принудит никакая сила, но все вышеперечисленное придется терпеть. Это уже очевидно... Лингвистика? Зачем им лингвистика? Тоже для каких-нибудь грязных дел? Могут ли вообще у них быть иные, не грязные дела? Надо бы выяснить. Держать ухо остро, чтобы невзначай не замараться в чем-нибудь таком лично. Да что дергаться? Родственник так надрызгался, что завтра и не вспомнит своих обещаний.

Но не прошло и трех дней, как Александра Николаевна Гирник, недавно отвергнувшая Ленинскую библиотеку за ее дурно пахнущие нравы, уже звонила в серенькую дверь на неприглядной московской улочке, которую и нашла-то с трудом. Ее ждали. Перед ней выросла фигура, так по-военному сочетающая в себе силу и стать, что позднее она, сколько ни старалась, не смогла вспомнить, в мундире был тот субъект или в штатском. Виделся – в мундире. Мундиры, вообще армию Шура презирала, ей в военщине претило все, даже высокие понятия

о чести в воинском исполнении теряли для нее цену. Она признавала только личную, свободную честь – в пресловутых «неволе и величии солдата» слишком бьет в нос первое, чтобы можно было уважать второе.

Но тот, кто ее встретил, был столь мужественно и вместе с тем интеллигентно красив, что воинствующая пацифистка чуть не забыла о своих предубеждениях. У офицера были седые виски, очень внимательные – но без намека на сверлящую назойливость – светлые глаза и мягкие джентльменские манеры.

– Где же нам побеседовать? – задумчиво протянул он. – Здесь прихожая, неудобно. Будут мешать. Если вы не против, давайте поищем свободную комнату. У нас тут настоящий лабиринт, поэтому, если позволите, я пойду впереди. Буду вашим Вергилием.

Вергилием! С ума сойти!

Лестница вела почему-то вниз, и довольно глубоко. Потом начались коридоры, повороты, двери. В некоторые из них офицер заглядывал мимоходом и, качнув головой, шел дальше. Все было серо, тесновато, лампы горели тускло. Гирник шла следом, с каждым шагом преисполняясь одним единственным желанием: выйти отсюда и никогда больше не входить.

Почему? Эти серые электрифицированные норы дышали не жутью, а прозаической скукой. Ничьи приглушенные стоны не доносились из-за дверей. Вергилий, перед каждым поворотом оборачиваясь к своей спутнице со сдержанно-галантным жестом, был все так же хорош. А в ней росло отвращение, смешанное с легким дрянным страхом.

Зато Шура успела собраться. От двойственного чувства, с каким она только что нажимала на кнопку дверного звонка, и следа не осталось. Извивы длинного беззвучного коридора иррациональным, но чертовски убедительным способом в два счета объяснили ей: ведомство, дуреха, – никакая не абстракция. Не надо здесь работать. Даже уборщицей. Здесь нельзя быть. Лучше всего, если удастся сделать так, чтобы он сам ей отказал. В противном случае откажется она. Найдет повод. Сразу или потом, по телефону... Внимание! Начали.

– Насколько мне известно, вы хотели бы у нас работать, Александра Николаевна?

– Да, я ищу работу.

– Вы лингвист?

– Нет, у меня специализация литературоведа. Но со временем я, вероятно, могла бы освоить и лингвистику.

– Обидно. Это – препятствие, хотя... Скажите, вы случаем не член партии? Это могло бы упростить нашу задачу.

– Нет, что вы! Я даже не в комсомоле, – как бы невзначай вырвалось у нее.

– Вот как? – его глаза вспыхнули, но это была сотая доля секунды. – Редкий случай. Не будет нескромностью, если я спрошу, в чем причина? Ваши убеждения?..

Последняя фраза прозвучала упоительно. Она была бархатной, шелковой, атласной. Почтительности, с которой офицер позволил себе поинтересоваться образом мысли собеседницы, хватило бы, чтобы удовлетворить убеленную сединами королеву. Но могла ли оценить подобные тонкости желторотая недотеха, обалдевшая от восторга перед роскошной женщиной?

– Ну какие в этом возрасте убеждения? – пропела Шура. – Детская бравада, только и всего. В комсомол же вступают пятнадцати лет, всем классом, а я была такая оригиналка, мне нравилось показывать, что я не как все, я еще подумаю. А потом, в университете, уже и поняла, что лучше бы вступить, но тут, напротив, стало как-то неловко это затевать, когда ты одна, прочие-то давно там... Глупо, конечно! – она одарила его самой доверчивой улыбкой, какую могла изобразить.

– Да, это вы зря. Понимаете, вы и не лингвист, и не комсомолка – сразу два серьезных недочета. Если бы хоть что-то одно... Жаль, конечно: у нас и оклады высокие, и условия, и жилищный вопрос мы быстро решаем, все, знаете ли, потому, что очень не любим, когда от нас уходят... Но боюсь, мне не следует вас обнадеживать.

Шура встала, улыбнулась еще раз – в меру грустно:

– Что ж поделаешь? Выходит, я напрасно вас побеспокоила.

– Я провожу.

Опять они долго шли по коридорам мимо молчаливых дверей, по лестнице, теперь вверх... У самого выхода, прощаясь, он тоже усмехнулся. И послал парфянскую стрелу:

– Не огорчайтесь. Возможно, мы вас еще найдем.

«Не тебе, соплячка, хитрить со старым волком», – мысленно перевела Шура.

– Приключенье в современном стиле, – Беренберг лениво прикрыла тяжелые веки. – И что, теперь ты опять отправишься скитаться?

– Может быть и нет. Аня Кондратьева обещает сосватать меня в какой-то Учебно-методический кабинет. Маленькое такое заведенье в Марьиной Роще. Ее новоявленный супруг там редакторскую группу возглавляет.

– Значит, история с Зитой не сделала вас врагами?

– Обошлось.., – имя Зиты напомнило: есть шанс бегства, перемены, свободы. – Слушай, Евгения, мы-то нет, а ты в крайности могла бы уехать. Должно быть веселее, если на дне сундука спрятан еще и этот ключик.

– Нет. Никаких запасных ключиков. Для меня жизнь возможна только в России. Или нигде.

Гирник не спрашивает, почему. Вопрос вертится на языке, но, похоже, он касается интимных тайн души. А у них не принято вторгаться туда, куда не приглашали. Их дружба не по-русски, не по-студенчески церемонна. Даже взбалмошная Татка на свой манер чтит законы этого горячего дистанционного общения, установленные в молчании, но ощущаемые остро. Непреложные.

Только мелькнула немая догадка: Блок?.. Его одержимость Россией?.. Для Евгении он не просто любимый поэт. И его толстенное старое издание в картонном переплете, вместившее чуть не все им созданное в один том, для нее не просто книга. Говорят, когда этот Блок куда-то запропастился, Евгения, на шестом месяце беременная Анной, невозмутимая, высокомерная Евгения с искаженным лицом металась по общежитию, врвалась в комнаты даже тех, кого обычно знать не желала, спрашивая с безумной мольбой: «Кто?.. Где?.. Отдайте!..»

Книга тогда нашлась, вон он, знакомый переплет. Шуре не по себе от всего этого. Она тоже долго сходила с ума от Блока, да и теперь... Но чтобы так – никогда.

Глава VIII. Кто громче крикнет «Жопа!»?

После бурь, сотрясавших ЦНИИТЭИ, Учебно-методический кабинет, сокращенно – УМК, прижившийся на первом этаже старого школьного здания, казался обителью тишины. Занимал он всего три небольшие комнаты: в одной – так называемые редакторы, весьма далекие от редакторской деятельности, в другой – методисты, вероятно, не более соответствующие своему названию, третья служила директорским кабинетом. Платили здесь ту же сотню, но без премий, и еще каждому редактору полагались две пятидневные командировки в квартал, о которых надо было писать совершенно одинаковые отчеты.

Редактуры как таковой не было, если не считать одной тонюсенькой брошюры примерно в полгода. Речь в этих четырех-шестистраничных изданыщах шла о подготовке рабочих кадров на предприятиях, подведомственных министерству, к которому принадлежал УМК. Брошюры были почти такими же одинаковыми, как командировочные отчеты. Шуре за полгода доставались не одна, как требовала бы справедливость, а две брошюры, что, разумеется, было беспардонной эксплуатацией. В роли эксплуататора выступал анькин муж, он же был и благодетелем, устроившим ее сюда. Сам он причитающихся ему брошюрок редактировать не желал. Из принципа. Михаил Байко был ненавистником «совдепии» и отказывался на нее «ишачить». Он разглагольствовал об этом гулким внушительным басом, нимало не стесняясь, и, к чести формально подчиненной ему редакторской группы, никто не настучал.

Не считая Шуры, редакторов было шестеро, и она мысленно сразу разделила их на пары: Первый поэт и Второй поэт, Первый журналист и Второй журналист, Первая дама и Вторая... Впрочем, нет: одна чересчур помята для дамы, другая не в меру вертлява. По размышлении наша героиня нарекла их Дуэньей и Субреткой.

Публика здесь собралась не без претензий. Только каприз судьбы мог загнать такую компанию в этот тихий закут, столь же безмятежный, сколь бесперспективный. Вопиюще, то бишь веселяще, утешительно разношерстная, она отсиживалась здесь, не ссорясь, будто разные звери на плывущей невесть куда льдине.

О блаженство: оказалось, можно даже читать! Некому, поймав тебя на этом запретном занятии, железным голосом изречь каноническую фразу: «Не забывайте, вы на работе!» Здесь директор, и тот был чудачком. Как всякое начальство, не чуждый обыкновения неожиданно входить и что-нибудь брякать, этот кряжистый мужик с толстой короткой шеей и лукавыми глазками вырастал на пороге и, нарочито окая, с солидной расстановкой произносил, к примеру:

– Не пОнимаю, как можнО лечь в пОстель с бабОй, кОтОрая – дура!

Он был неистощим на подобные сентенции, но эта, первая, едва не прикончила Шуру Гирник на месте. Другие-то были подготовлены, а она, со стуком уронив на пол «Иностранную литературу», буквально задохнулась от хохота. Директор был ерник, иные считали, что и хам, но Шуре он понравился. Ей-то такой хитрющий дедок хамить не станет. Сообразит. А нет – пусть пеняет на себя, «кОтОрый дурак».

Увы, насладиться умозаключениями директора-философа Гирник не успела. Вскоре его сняли, якобы «за финансовые злоупотребления». Чем можно было злоупотребить в УМК, никто толком не понял, но директорское место занял Второй поэт, как единственный на весь коллектив член партии. При нем читать стало уже не так безопасно. Раз и навсегда перепуганный выволочкой, которую получил однажды в Литинституте за стишок про то, как мы ужасно не бережем родную природу, Второй поэт боялся всего. Увидев на шурином столе раскрытую книгу, он принимался страдальчески скрипеть:

– Александра Николаевна, ну, я же просил... Вдруг кто зайдет из министерства... Отвечать-то не вам, мне, как вы не поймете?... Даже странно... нет, вы не обижайтесь, просто странно...

Из министерства к ним никто не заходил. Никогда. Ни разу. Но Второй поэт понимал: в принципе такую вероятность исключить невозможно. С него было довольно сего сознания.

Почему-то игра в шашки считалась куда менее криминальной забавой, нежели чтение, и пленники УМК чрезвычайно в ней преуспевали.

– Вы скоро выйдете в гроссмейстеры, Сашенька, – великодушно утешал Гирник Первый журналист и настоящий гроссмейстер группы. – Мне все труднее обыгрывать вас. Честное слово, вы чуть-чуть меня не обставили!

Первому журналисту подкатывало под сорок. Это был добродушный, недалекого, но бойкого ума человек, проводящий свои дни в страхе, куда более основательном, нежели тот, что томил Второго поэта. Еще в отроческие годы получив по затылку битой от городков, он с тех пор жил под угрозой слепоты. Зрение висело на волоске, и когда болезнь вдруг обострилась, он махнул рукой на свою слишком энергоемкую профессию, залег на дно.

В сущности, то же произошло и со Вторым журналистом, хотя он был гораздо моложе. Высокий, смуглый, похожий на грузина, тот выглядел здоровяком, но тяжелейшее нервное расстройство подкосило его карьеру в самом начале. Свою вежливую, но безрадостную разговорчивость он объяснял медицинским предписанием:

– Я не такое трепло, каким кажусь. Но доктор сказал: чем больше говоришь, тем для тебя лучше. Ничего в себе не держи – какая мысль или чувство ни появится, высказывай сразу! Не думай, кстати ли придется, интересно ли другим – в твоём положении о себе заботиться надо!

Если он и впрямь следовал этому рецепту, с чувствами и мыслями там было небогато. Но вряд ли по глупости. Было скорее похоже, будто душевная буря, что его сюда занесла, вымела из головы и сердца все, жившее там прежде. Теперь он или болтал ни о чем, или зачитывал цитаты из книг. Особенную страсть он питал к «Доктору Живаго», и когда Шура не без смущения призналась, что великий гонимый роман ей как-то не очень, стал то и дело возвращаться к нему, раскрывал на заранее вложенных закладках, читал вслух большие отрывки:

– Гениально! Ну правда же, потрясающе?

Было и гениально, и потрясающе. Казалось невозможным, даже постыдным не любить книгу, в которой есть такое. Но Шура больше не надеялась полюбить «Доктора Живаго». Помнила, как старалась, какими оскорбительно напрасными оказались эти усилия. Бывают книги, изначально закрытые для тебя – не пробьешься, стена. Или это ты для них закрыта?

– Ты, – холодно подтвердил Второй журналист. – Там нет стены. Если она есть, то в тебе.

С тех пор он перестал замечать Гирник. Она слегка огорчилась, но не спорила. Такого рода антипатия была ей понятна: для этого человека она стала особой, имеющей в душе переборку.

Между тем стул Второго поэта, перебравшегося в отдельный кабинет, вскорости оседлал новый сотрудник. Как ни смешно, он тоже писал стихи и даже изредка пропихивал их во второсортные газетки. Но если его предшественник в своих поэзах являл миру ту же безобидную вялость, что и в простом общении, то этот Николай, с легкой руки Миши Байко тотчас прозванный Колюшкой, был – ф-фу! – тошнотворен во всех своих проявлениях. Гирник давно смекнула, что не надо давать волю таким чувствам, но это было сильнее ее: все в Колюшке, начиная от слащавых малограмотных ямбов и кончая манерой, сидя за столом, часы напролет мелко постукивать пятками об пол, внушало ей острое омерзение. Да и прочие едва ли испытывали к вновь прибывшему хоть малую симпатию. Но Колюшок этого не замечал и охотно делился с коллективом деликатными тайнами.

– Я тут подумал: не дело это, как я жене изменяю. Очень часто. А ведь жена все-таки, женщина, ей тоже обидно. Во мне совесть заговорила! Я даже в последней командировке ничего такого... ей-богу, ничего... а возможность была!

– Об этом стоит написать поэму, – голос Байко пророчески суров. – Она будет называться «Упущенная возможность»... Гм! А вот признайся, Колюшок: случалось ли тебе давать лживые брачные обещания?

– Много раз! – командировочный оболститель с готовностью кивает потной, обрамленной кудряшками лысиной. – Взять хоть в позапрошлом месяце, когда в Пермь посылали...

– Ай-ай-ай! Некрасиво. Как же ты так?

– А если она без этого не соглашается?

– М-да. Действительно. А знаешь, я тебя тоже могу воспеть. Экспромтом! М-м-м.. Вот: Коля-Коля-Колюшок сел с размаху на горшок!

– Ты прям вообще... Еще и с размаху.., – ворчит воспетый. Обижаться он не умеет. Это для него слишком сложная эмоция.

– А из техникума тебя за что выгнали? – не унимается коварный Миша. Ему скучно. Он умен. Он талантлив. Он культивирует мелкую злость там, где иначе заведется большая депрессия.

– Да тоже девка одна подвела... студентка. Фигуристая такая, разбитная... Всем давала, а мне говорит: если вы, Николай Палыч, клятву дадите мне никогда двоек не ставить, тогда ладно, а так, мол, нет. Ну, я и поклялся. А она совсем ничего не знает! У меня сопромат, предмет серьезный, ее спросишь – стоит столбом и хоть бы слово! Студенты смеются... Она похвалилась, я так думаю... Шепчутся... Ну, и вlepил ей пару. А она в деканат! Принуждал, дескать, служебным положением воспользовался...

– Еще один готовый сюжет. «Роковая клятва»! Шекспир удавился бы от зависти!

– Скажешь тоже... Шекспир.., – Колюшок, кажется, польщен.

Перерыв. Столовой здесь нет, кто посерьезнее носят харчи из дому, а Шура покупает в соседнем магазинчике всегда одно и то же – четвертушку ржаной буханки и пакет молока. На большее денег нет, да и какой толк гурманствовать за конторским столом? Как ни крути, это все же отсутственное место, хотя для такового – почти райское. Повезло.

– Товарищ Гирник! Подкиньте рифму на «бя»!

Это опять Миша. Он-то и есть Первый поэт. И в отличие от прочих здешних, чего доброго, настоящий. Хотя они, гордые творцы, никогда не просят подсказать рифму, а он пристает бесперечь. Опять, значит, переводит с подстрочника какие-нибудь чувашские или литовские детские стишки.

– Ну, скорбя... губя... себя... бяка!

– Благодарю вас, товарищ Гирник, о, благодарю.

«Товарищ» в его устах начинен всем мыслимым сарказмом. Хотя Шуру он, видимо, уважает. Ну, самую малость. Настолько, насколько Байко вообще способен уважать кого-либо из племени двуногих.

– Что это, как послушаешь, все у вас хорошие?

– У меня? – Гирник в изумлении. Если бы ее укорили за злоязычие, она бы поняла, но чтобы за прекраснотушие?

– Именно. Это заблуждение недостойно вашего ума. Все сволочи, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг!

– Многие – несомненно. Даже большинство – допустим. Все – никогда.

Старший редактор криво ухмыляется. Он велик ростом, пузат, малость плешив, и хроническая небритость вкупе с нездоровой бледностью упорного врага бутылки, мешками у глаз и гримасами человеконенавистника делает его физиономию одной из тех, какие принято называть протокольными. Все это маска. Под ней прячется былой восторженный юноша из интеллигентной семьи. Кружок друзей, преданных высоким искусствам, блуждания ночами по московским улицам, вдохновенные беседы, не более одной бутылки сухого вина на шестерых – проговорился, все это было. И ничего не осталось. Последний друг забегал тут на днях, тще-

душный, хронически бухой, трогательный художник-армянин, в один присест накатавший для спяну пленившей его Шуры целую ватманскую простыню мутного дадаистского текста. Чудесная детская душа смотрела из его глаз, но глаза взрослого наблюдателя безошибочно определяли, что бедолага не просыхает последние лет десять...

– Э, что толковать? – Первый поэт почесывается с демонстративной вульгарностью гориллы, кряхтит, потом, обведя комнату энергичным взором предводителя масс, гулко восклицает:

– Товарищи! Давайте проведем маленькое соревнование. А ну-ка, кто громче крикнет «Жопа!»?

Не дожидаясь, найдутся ли соперники, он запрокидывает голову. Толстая щетинистая шея напрягается. Из разверстой пасти вырывается вопль, оглушительный рев, способный потрясти девственные тропические леса. Но невозмутимые стены старой школы глушат, видимо, и такой звук: никто не вбегает в ужасе. Тишина.

– Увы, Миша: соревноваться бесполезно. Громче никто не крикнет.

Глава IX. Послание об исчезнувшем времени

«Тут вот что: время замирает. Как в сказке, когда юный герой, заснув, где не надо бы, пробуждается старцем. Дни так похожи, что начинаешь догадываться: это один и тот же день. Только жалкие кусты школьного двора за окном, заваленные снежными сугробами, оттаивают, потом зеленеют, а смотришь, пожелтели...»

Раскрыв для вида очередную брошюру и постепенно выдвигая из-под нее заполняемый строчками листок, Шура сочиняет эту унылую галиматью для Арамовой, хотя если бы иметь совесть, Аське бы надо написать что-нибудь повеселее. Во плоти она так и не появилась, но вернувшись, наконец, в Йошкар-Олу, прислала письмо. «А что не зашла, не сердись. Ничего ты не потеряла, не увидев меня такой, какой я была все эти месяцы. Да и никому бы лучше не видеть это корчащееся от уязвленной гордости насекомое...»

Кто так говорит, тот справился. И эти изящные, округлые буквы, каких даже за миллион не сумела бы вывести ничья рука, кроме Аськиной, – они тоже говорят о победе. Хоть и не веселая это победа, за такую не пьют. Прощай навек пушкинистика, «интеллектуальное пульсирование» в кругу единомышленников, седеющий импозантный «Шеф» – обожаемый научный руководитель, по слухам, теперь взъевшийся на ученицу, которой еще недавно напоказ гордился. Подвела, мол, не оправдала надежд, дискредитировала своим провалом его семинар. Так можно упрекать человека, выпавшего с десятого этажа, что, погибая, этот разиня помял твою клумбу. Гирник и прежде не жаловала факультетского кумира, до истерики влюбленного в себя и жеманного, но если то, что рассказывают, правда... Ни слова более! Один из предрасудков нашей героини состоит в том, что филологу матерщина не пристала. Как профессионал он должен уметь находить для самовыражения менее тривиальные средства. А не получается – помалкивать в тряпочку.

Аськино развернутое письмо лежит тут же, рядом с министерской брошюрой. Ни одна буква не дрогнула, не покосилась в спокойной информативной фразе: «Я устроилась редактором в НИИ сельскохозяйственного машиностроения...»

Что это? Будто кто-то плачет?

В нелепом испуге Гирник оглядывается. Тьфу ты, пропасть! Никакой мистики. Это Зина. Субретка... несчастная девчонка, надо же было влипнуть в такую историю! Да, для нее-то время и не думало замирать. Еще каких-нибудь две недели тому назад она торжествовала, сияла, рассыпая по столам груды пестрых слайдов: здесь она с ним в горах, а вот они на берегу реки, а тут, смотрите, – та самая дорога, на этом повороте все и случилось...

Родство зинаидиной души с душой одного из чиновников головного министерства обнаружилось еще в марте. Завязавшись на овощебазе над грудой мерзлого картофеля, который они там сортировали, сюжет развивался быстро и красиво. Образцовый роман! По весне они стали выезжать за город на его мотоцикле: «Он такой бессребреник! Такой необычный! Ему ничего в жизни не нужно, только мотоцикл, он любит скорость, чтобы ветер свистел в ушах... и я тоже... мы так сдружились!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.